Людмила Улицкая

Истории про зверей и людей

Annotation

Открою секрет: в каждом взрослом человеке глубоко спрятан тот мальчик или девочка, которыми они были в детстве. Ребенку иногда бывает трудно и неинтересно читать взрослые книги, зато некоторые взрослые не потеряли способности читать детские. Но им тоже это непросто, потому что молодой человек от пяти до десяти гораздо легче представляет себе, как кот разговаривает с растением на подоконнике, а старая лошадь капризничает, потому что ей хочется, чтобы все ее любили. К тому же взрослому человеку не всегда понятно, что разбитые часы могут быть огромным несчастьем жизни, а бумажный кораблик из газеты оказывается пропуском в мир, куда прежде не пускали.

Вот вам истории про Одинокую Мышь, высокообразованного Таракана, плаксивую кобылу Милу, талантливого жеребенка Равкина, добродушного старика Кулебякина, несчастного Воробья, поменявшего свое имя, сороконожку Марию Семеновну с семьей и некоторых других симпатичных героев. Читайте, пожалуйста, я еще напишу».

- Людмила Улицкая
  - История про кота Игнасия, трубочиста Федю и Одинокую Мышь
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава последняя
  - История о старике Кулебякине, плаксивой кобыле Миле и жеребенке Равкине
  - История про воробья Антверпена, кота Михеева, столетника Васю и сороконожку Марью Семёновну с семьёй
    - Глава 1
    - Глава 2

    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава последняя
  - Детство-49
    - Капустное чудо
    - Восковая уточка
    - Дед-шептун
    - Гвозди
    - Счастливый случай
    - Бумажная победа

Людмила Улицкая
Истории про зверей и людей

История про кота Игнасия, трубочиста Федю и Одинокую Мышь

Глава 1
Отчего Мышь была так одинока

У мышей, как всем известно, очень большие семьи. У каждой мыши, кроме многочисленных братьев и сестер, кроме родителей, бабушек и дедушек, есть еще пять-шесть поколений живых предков. Мышь, о которой пойдет речь, была одинокой. Ее муж еще в молодые годы утонул в большом кувшине молока, дети выросли и переехали в другой город, кроме одного сына, который и вовсе поселился на пароходе, а пароход ушел в кругосветное плавание, и с тех пор ни о пароходе, ни о мышонке ничего не слышали. Родители Мыши и ее деревенская родня погибли от несчастного случая: старая изба, в которой они жили, сгорела вместе с большой мышиной семьей. Конечно, кое-какие родственники остались в живых, но характер у нашей Мыши, которую давно уже прозвали Одинокой Мышью, был нелюдимый, вернее было бы сказать, немышимый, она очень редко виделась с оставшейся в живых родней и ограничивалась тем, что посылала им поздравительные открытки к Новому году Это было очень хлопотное дело, ведь надо было написать 188 открыток! Чтобы успеть написать такую кучу открыток к сроку, Одинокая Мышь начинала эту работу с того самого дня, как только выпадал первый снег, и никогда не успевала закончить к Новому году. Последнюю открытку она обычно писала как раз в то время, когда появлялась первая травка. Поскольку спешить все равно было поздно, она складывала открытки на полочку и опускала их в почтовый ящик в тот самый день, когда выпадал первый снег и пора было начинать писать 188 открыток к следующему Новому году.

От этой бесконечной писательской работы у Одинокой Мыши немного испортилось зрение, и ей пришлось заказать очки. Но, несмотря ни на что, она любила писать эти поздравления. Ведь когда пишешь письма, не чувствуешь себя одинокой. К тому же есть надежда, что придет ответ.

Правда, деревенские родственники Одинокой Мыши были неграмотными и никогда не отвечали ей на поздравительные открытки, но когда они изредка приезжали в город, то привозили замечательные подарки: один троюродный брат привез ей однажды целую головку подсолнуха, набитую семечками, а один двоюродный дедушка — кусок сала размером почти со спичечную коробку.

Что касается городских родственников, то они, несмотря на то, что были грамотными, тоже не отвечали, поскольку были очень занятыми. Зато

они звонили ей иногда по телефону, и это тоже было приятно. Когда звонит телефон, не чувствуешь себя такой одинокой.

Глава 2
Шкаф

Одинокая Мышь долгое время, пока не вышла на пенсию, работала в переплетной мастерской. Она умела замечательно быстро прогрызать кожу и очень аккуратно подравнивать зубами толстые стопки бумаги. Это была ее дневная работа. Свои ночные часы трудолюбивая Мышь тоже не тратила даром — работала сторожем на Большой Городской Свалке. Надев длинный прорезиненный плащ и взяв в одну лапу палку, а в другую фонарь, рыскала Одинокая Мышь по свалке из конца в конец, оберегая горы отличного мусора от воров. Ее ночная работа почти всегда была плодотворной, и к утру она набивала свой рюкзачок кое-каким добром.

Разумеется, это было не воровство, а честно заработанное имущество. К этому надо добавить, что Одинокая Мышь никогда не выбрасывала того, что однажды попало в ее дом.

В конце концов у Одинокой Мыши скопилось великое множество всякого добра, которое завалило всю мышиную квартиру и причиняло массу неудобств, как это всегда бывает с имуществом, и чем его больше, тем больше от него неудобств.

И чтобы это прекрасное имущество, собранное тяжелым ночным трудом, не портилось и не ломалось, не трескалось и не билось, не плесневело и не гнило, не червивело и не высыхало, Мышь решила заказать огромный шкаф.

Известный в городе краснодеревщик Шашель взялся за работу.

Целый год Шашель вместе со всей своей семьей вытачивал для Мыши шкаф, а когда работа была окончена, оказалось, что шкаф этот вполне заменяет дом.

Выточенный из цельной дубовой колоды, с отверстиями, прорезанными для окон и дверей, шкаф нуждался только в крыше, чтобы стать самостоятельным домом. Крышу сделали, в середине шкафа устроили настоящую печь с дымоходом и комнатку с кухней, и Одинокая Мышь поселилась внутри замечательного шкафа.

Сколько было в этом шкафу ящиков, полок, отделений и углублений, и сам Шашель не знал, потому что даже самые маленькие из его детей, которые еще не умели считать до трех, принимали участие в постройке шкафа и вытачивали самые маленькие из ящичков — по своему разумению и своему размеру. А сколь там было потайных замочков, секретных пружин

и защелок! Но о самом большом секрете, который скрывался в глубинах шкафа, Одинокая Мышь и понятия не имела. Хитрый Шашель провел потайной ход из шкафа прямо в дымоход — на всякий случай. Ведь когда у тебя такая большая семья, заранее никогда нельзя знать, что может понадобиться через год.

Итак, возвращаясь к ящикам. Нельзя не сказать, что, кроме разнообразия размеров, они поражали и разнообразием формы. Ящички для перьев, карандашей, ложек, батареек для электрического фонарика были длинные, вроде пеналов, а для круглого голландского сыра, который выделывается в виде головок, или для шляп ящички были круглыми. Были и полки для книг. Одинокая Мышь еще со времени работы в переплетной мастерской очень любила книги, особенно старинные, в переплетах из настоящей кожи, с очень приятными на вкус иллюстрациями. Что и говорить, в старое время типографские краски были гораздо вкуснее теперешних. К примеру, медицинский атлас: картинки в нем цветные, все цвета хороши на вкус, а красный — лучше всякого пирожного.

Была у Мыши и коллекция лоскутков — шелковых, бархатных, хлопчатобумажных и синтетических. Каждый род — по своей коробочке. Была и вешалка с платьями. Новыми, поношенными, просто старыми и такими ветхими, что Одинокой Мыши иногда приходило в голову, не подарить ли их бедным людям. Зашитая в белую простыню, висела на вешалке половина енотовой шубы — Мышь надеялась когда-нибудь найти к ней недостающую половину. Четвертый этаж сверху, по правой стороне, занимал отдел зубных щеток и шляп, пятый — лампы и свечи, шестой — футляры для хвоста. Футляров, как говорят, было всего пять, по одному на каждый сезон плюс один парадный — замшевый.

Короче говоря, ленты, кружева, ботинки, нижние юбки и что угодно для души, — все лежало на своих местах, в своих коробочках, под своим номером. Мышь больше всего на свете любила свой дом-шкаф и часами любовалась своими богатствами: перекладывала, перебирала. Особенно приятно было заниматься этим в плохую погоду.

Глава 3
Происшествие

Однажды утром Одинокая Мышь сварила себе кофе и, собравшись сделать бутерброд с сыром, открыла круглый ящичек, в котором второй год хранилась очень симпатичная головка голландского сыра. Она отрезала кусочек — и страшно заволновалась: на сыре были следы чьих-то зубов! Да, да! Чьи-то маленькие зубки обгрызли ее замечательный сыр!

Видимо, в шкафу завелся вредитель. У бедной Мыши даже аппетит пропал при мысли, что кто-то лазает в глубинах ее шкафа, трогает ее вещи, ест ее припасы.

«Ах, — думала она, — хорошо тем, у кого ничего нет. Они спят спокойно и не тревожатся об ущербе, который могут нанести злоумышленники и воры».

Впрочем, Мышь вовсе не хотела бы поменяться местами с теми, кому не о чем было тревожиться.

С этого ужасного дня у Мыши началась бессонница. Когда же она наконец засыпала, ее мучили кошмары, снились грабители, воры, лягушки, которых она с детства боялась, а также пожары и наводнения. С сильным сердцебиением она просыпалась среди ночи, кидалась к полкам, искала новые следы порчи — и находила!

Однажды во вторник Одинокая Мышь обнаружила, что злодей съел полбанки земляничного варенья и обгрыз мак с сушки, подаренной двоюродной сестрой на именины. В среду она нашла четыре скорлупы от миндальных орехов, которые берегла для миндального торта к Новому году. В четверг исчезла пачка печенья и большой кусок колбасы.

К концу недели Одинокая Мышь убедилась, что имеет дело не только с ловким вором, но и с хулиганом. Собираясь на улицу, она достала обувную коробку с выходными ботинками, сунула лапку в ботинок и запищала от боли — злодей положил туда подушечку с иголками!

Мышь заплакала. Слезы потекли по ее серым щекам. Она взяла свежий носовой платок, чтобы утереться, поднесла его к носу — и начала чихать! Платок был пересыпан перцем. До позднего вечера она чихала и плакала.

«Так жить невозможно. Надо что-то предпринять», — решила она.

Глава 4
Тараканий обед. Тараканий совет

Одинокая Мышь была вовсе не глупа, но она пребывала в такой растерянности от свалившегося на нее несчастья, что решила посоветоваться с Тараканом. Таракан считался самым большим умницей в городе. К тому же он был адвокатом, то есть знал все на свете законы и пути, которыми эти законы можно обойти.

Мышь позвонила ему по телефону и пригласила его на завтрашний обед. Таракан был очень с ней любезен и обещал прийти на обед ровно к шести часам, но не завтра, как приглашала его Мышь, а, если можно, сегодня.

Повесив трубку, Мышь страшно засуетилась. Она одновременно месила тесто, терла шоколад, взбивала белки, чистила столовое серебро и крутила мясорубку. Четыре лапки и розовый хвост мелькали по кухне во всех направлениях. В этой спешке ей и в голову не пришло попробовать на вкус сахарный песок, который она достала с полки. А между тем в коробке с надписью «Сахар» была насыпана соль.

Самое забавное заключалось в том, что об этой проделке неведомого врага Одинокой Мыши так и не суждено было узнать, потому что Таракан съел торт целиком, не оставив Мыши ни кусочка, и настолько быстро, что не успел заметить странности его вкуса.

Таракан пришел ровно в шесть. Снял с блестящей головы черную блестящую шляпу, с ножек — три пары сверкающих галош и поцеловал Одинокой Мыши лапку. Мышь несколько смутилась. Она была уже в летах, отвыкла от мужского общества, и, откровенно говоря, даже в молодые годы ей не часто целовали лапки. Она даже покраснела от удовольствия, но это было совершенно незаметно благодаря густой серой шерсти.

Одинокая Мышь усадила Таракана в большое кресло, и он просто остолбенел, увидев накрытый стол. Придя в себя, он немного пошевелил усиками, раздумывая, с чего бы начать, — и начал с краю.

Как комбайн идет по полю, не оставляя за собой ни одного колоска, шли тараканьи челюсти по столу. Он съел:

суп гороховый,

винегрет,

селедку,

шарлотку,

пять котлет,
торт шоколадный,
сыр овечий,
из подсвечников свечи,
с луком зразы
и цветы из вазы.
И в придачу — розовую салфетку.

Когда он, разогнавшись, начал грызть край стола, Одинокая Мышь вежливо кашлянула. Стол имел вид пустыни. Таракан очнулся, вздохнул, уселся поудобнее в кресле и сказал Одинокой Мыши, у которой просто дыхание перехватило от изумления при виде такой быстрой и четкой, можно сказать, артистической работы:

— Слушаю вас, дорогая Одинокая Мышь. Мне казалось, вы хотели со мной о чем-то посоветоваться?

И тогда Мышь рассказала Таракану всю историю, начиная с той минуты, как обнаружила на сыре следы чьих-то зубов, — и вплоть до иголочек, засунутых ей в ботинки.

Таракан сидел с закрытыми глазами и тихонько шевелил усами, и только по этому легонькому шевелению можно было догадаться, что он не спит. Мышь окончила свой рассказ. Таракан немного помолчал, а потом сказал:

— Дорогая Мышь! Наше тараканье семейство одно из самых древних на земле. Нам знакомы все способы истребления, поскольку не было таких способов, которые не использовали в борьбе с тараканами. Как видите, вымерли ихтиозавры, динозавры и даже лошади Пржевальского, а мы, тараканы, вышли из борьбы победителями. Судя по тому, как ведет себя обитатель вашего шкафа, он, уж во всяком случае, не таракан. Хотя тараканы и имеют привычку съедать все подряд, но таракан никогда не позволит себе хулиганства. Для начала необходимо выяснить, кто именно поселился в вашем шкафу. Сделать это очень просто. Надеюсь, у вас осталось немного муки? Посыпьте полки мукой, и через некоторое время мы будем знать, с кем имеем дело. Преступник оставит свои следы. Я зайду к вам через несколько дней, а еще лучше завтра, взглянуть на его следы… У меня уже сейчас есть некоторая догадка относительно вашего жильца, но пока говорить что-нибудь определенное преждевременно.

Затем Таракан откланялся, снова поцеловал Мыши лапку, надел шляпу и галоши и с трудом переполз через порог, волоча туго набитое брюхо.

Глава 5
Липучка

Как только Таракан ушел, Мышь сразу же насыпала на дно нескольких полок тонкий слой муки. Наутро на муке обнаружилась ровная цепочка следов, точь-в-точь как на дорожке после снегопада. Это были отпечатки двух маленьких лап с пятью пальцами и без когтей. Следы шли из одного ящика в другой. Мышь, надев очки, внимательно эти следы разглядывала, пока наконец в одном пустом ящике, сплошь засыпанном мукой, не обнаружила надписи «ФЕДЯ».

Мышь нацепила шляпку и, впервые в жизни не позавтракав, выскочила из дому. В половине десятого она была у Таракана. Он еще крепко спал. После вчерашнего мышиного обеда он вполне мог бы проспать два-три дня. Однако Мышь не могла так долго ждать, она разбудила его и рассказала об обнаруженных следах и надписи.

— Да, так я и думал, — сказал Таракан, — ничего хуже быть не может. Это человек. Дорогая Мышь! Я знаю множество способов истребления вредителей:

в них бросают молотком,
обливают кипятком,
травят жутким порошком,
угощают сладким ядом!
Их дома, еду и норы
обливают чем-то хлорным,
мажут щели керосином
и бурою с глицерином!

Тут Таракан вздохнул и добавил:

— И главная беда в том, что все это придумал человек. Ужасное животное!

— Я придумала! Я придумала! — пропищала Мышь и, махнув хвостом, побежала в хозяйственный магазин. Она купила две длинные липучки от мух, свернутые в трубочку. Дома она отгрызла от них колпачки и принялась разматывать липкую ленту возле дверцы самого большого ящика с вареньем.

Он полезет в этот ящик, наступит своими босыми ногами на ленту и прилипнет. Прилипнет! Как еще прилипнет! — радовалась Одинокая Мышь.

Хвостик ее от волнения ходил из стороны в сторону и — раз! — коснулся липучки. Она продолжала раскручивать ленту, пока не заметила, что хвост ее прилип.

— Ой! — воскликнула она и попыталась отодрать липучку. Не тут-то было! Липучка прилепилась к лапкам, к спине, к животу, и через минуту вся Мышь оказалась облепленной. Она заметалась в ужасе. Хорошо еще, что на столике как раз стоял таз с водой, в котором она собиралась стирать свой передник. Она храбро прыгнула прямо в таз, — а на такой подвиг способна далеко не каждая мышь, — и принялась в нем бултыхаться. Бумага довольно скоро размокла, и Мышь, мокрая и обессиленная, легла на кровать отдохнуть после неожиданного купания. Первая атака на Федю провалилась…

Глава 6
Знакомство с Федей

Федя сразу заметил, что на дне ящика что-то насыпано. Он посветил фонариком: что-то белое, не то мел, не то мука. Вначале он не обратил на это никакого внимания, но, когда рассыпанная мука обнаружилась и во втором, и в третьем ящике, он догадался, в чем тут дело:

— Ага, старушка, кажется, хочет со мной познакомиться. Я согласен. Только при условии, что наши отношения не будут слишком тесными!

И Федя с большим удовольствием голой пяткой написал на муке свое имя. Сам-то он прекрасно знал, что хозяйку зовут Одинокая Мышь.

К этому времени прошло уже больше недели с тех пор, как Федя поселился в Мышином шкафу. Он был трубочистом, прочищал дымовые трубы во всем городе. Вообще-то его вызвала подслеповатая Змея, соседка Мыши. У нее засорился дымоход, и она чуть не задохнулась от дыма. Перепутав крыши, Федя попал через трубу в Мышиный дом, прямо в печку, и оказался таким образом в том самом потайном ходе, который пробуравил Шашель на всякий случай, когда заканчивал постройку шкафа.

Когда Федя сообразил, где он находится, он просто влюбился в этот дом-шкаф. Да и кто бы не влюбился! Это был настоящий лабиринт, по которому особенно интересно путешествовать потому, что в конце каждого путешествия ожидало Федю не чудовище, а банка земляничного варенья, сушеные сливы или старинные конфеты, окаменевшие от времени, но все равно сладкие. Это был клад, в котором среди всякой чепухи иногда попадались настоящие сокровища. В шкафу были такие диковинные коридоры, закоулки, лесенки между этажами, что Феде иногда приходилось совершать настоящие горные восхождения. Не забывайте, что он был все-таки трубочист, и у него была при себе раздвижная лесенка и моток веревки.

Короче говоря, Федя забыл про засоренный дымоход Змеи и остался в шкафу, так что Змее пришлось самой прочищать свой дымоход, что, собственно говоря, было для нее не особенно сложно. Вряд ли можно найти другое существо, столь хорошо приспособленное для этого занятия — Змее пришлось всего-навсего проползти из печки своего дома на крышу, но не совсем обычным образом, хвостом вперед. Как ей и полагалось, она была мудрая Змея и потому сообразила, что если она поползет головой вперед и застрянет, то за хвост вытягивать ее из дымохода будет слишком

сложно и к тому же очень больно.

Что же касается Феди, он решил навсегда поселиться в Мышином шкафу.

Глава 7
Появляется Игнасий

Для одинокой Мыши настали тяжелые времена. Она похудела, вздрагивала от каждого шороха — мыши от природы очень пугливы и нервны. Свое утро она теперь начинала не с чашечки кофе, как прежде, а с обхода шкафа. И каждый день приносил ей новые огорчения. В один печальный день она обнаружила, что Федя добрался до ее библиотеки, вырвал самые вкусные картинки из тех книг, что раскрашены, и куда-то уволок.

Пропал изюм,
пропал костюм,
кружевной воротник,
театральный парик,
две серебряных ложки
и ошейник для кошки!

Наконец, в ящик с постельным бельем была вывернута бутылочка синих чернил!

В середине второй недели Одинокая Мышь, превозмогая природное отвращение к вещам подобного рода, зарядила две ловушки того самого образца, которые мы называем мышеловками. Одну — сыром, другую — салом.

Федя просто от смеха затрясся, когда их увидел: «Видно, она меня за дурака принимает! Даже обидно немного». Он подцепил крючком сало, мышеловка сработала, щелкнула, после чего Федя вынул сало из мышеловки, сбегал за хлебом — не в булочную, конечно, а в соседний ящик, — сделал бутерброд с салом и сверху густо намазал его горчицей. И оставил на видном месте — в подарок Одинокой Мыши.

Но этого Феде показалось мало. Своим перочинным ножиком, к слову сказать, очень хорошим — с двумя лезвиями, с открывалкой для консервов, штопором и даже с ножницами, — он разрезал все мешочки с крупой, такие пузатенькие, аккуратные, Мышь их так любила… Словом, когда она обнаружила издевательский бутерброд и разрезанные мешочки, у нее был самый настоящий сердечный приступ. Ей пришлось выпить три большие капли валерьянки.

Но она решилась! Решилась на самую последнюю меру — поселить в доме кота.

После длинной и утомительной поездки в трамвае Мышь попала на рынок. Она очень растерялась, когда попала в кошачий ряд — она и представить себе не могла, сколько на свете кошек всех возможных цветов, размеров и возрастов. Мышь долго выбирала себе такого кота, чтобы он влез в корзинку, которую она с собой захватила, и не был бы слишком тяжелым — все-таки до трамвайной остановки идти было довольно далеко.

Подходящий кот оказался с виду довольно обыкновенным, серым в полоску, с редким именем Игнасий. Без всякого восторга он залез в корзинку, всю дорогу молчал, только шевелил усами и иногда фыркал. Мышь поставила корзинку к себе на колени и размышляла, не посадить ли ей кота на цепочку и спускать его только на время охоты за Федей. Она прекрасно помнила, что в шкафу в одном из ящиков хранился кошачий ошейник! Да, правильная мысль: посадить кота на цепочку! Все-таки очень неприятно, когда по квартире беспрепятственно разгуливает кот.

«А кормить его буду гречкой. Кажется, коты не очень любят гречку, но если он будет объедаться, он не захочет охотиться», — размышляла она.

Когда, приехав домой, Мышь вытащила кота из корзины и поставила перед ним блюдце с гречневой крупой и второе с водой, кот от возмущения только рот раскрыл. Придя в себя, он ехидно произнес:

— Урр, и все это мне?

И отвернулся, а про себя подумал — завтра же убегу!

Но это было еще не все! Мышь надела на кота ошейник и прицепила к нему цепочку от сломанных ходиков.

Второй конец цепочки она обмотала вокруг ножки стола. После этого она села с важным видом и произнесла следующее:

— Я не люблю котов. Но тебя, Игнасий, я купила, чтобы ты поймал то существо, которое поселилось у меня в шкафу. После того, как ты его поймаешь, ты совершенно свободен, можешь сам собой распоряжаться, наняться, например, в такой дом, где любят котов, или поступить на государственную службу.

Игнасий все Мышиные слова, от первого до последнего, пропустил мимо ушей, переживая неслыханное оскорбление. Глаза у него сверкали зеленым огнем, а усы тряслись от злости.

«Меня! Как собаку! На цепь! Это тебе будет дорого стоить, хозяйка!» — думал он.

Но ни слова не сказал — он был молчаливый и сдержанный кот, лишнего не говорил.

Глава 8
Знакомство Феди с Игнасием

И вот настал час, когда Одинокая Мышь сняла с раздраженного и голодного Игнасия ошейник и сказала, что ему пора идти на охоту, а ей — спать.

Одинокая Мышь пошла в свою спальню, а Игнасий решил для начала обнюхать, чего хорошего можно найти в шкафу. От ящиков с одеждой несло нафталином.

«Скучный и противный запах, — подумал Игнасий. — Хоть я и не моль, но запах этот мне не нравится».

Он продолжал свой обход — бакалейные запахи тоже были малоинтересны. Что толку в сухой крупе? Потом запахло мылом.

«Тоже глупости. Самое милое дело — облизать лапу да протереть как следует морду. А хозяйка, поди, мыло тоже не для мытья держит. Грызет небось по праздникам», — ехидно ухмыльнулся кот.

«Ну вот наконец нужный ящик. С него мы и начнем охоту. Пахнет колбаской. Надеюсь, в ней не слишком много перцу…»

Игнасий подсунул когти под ящик, попытался выдвинуть его, но он не шел.

«Полным-полнехонек», — обрадовался кот.

Потом он уперся задними лапами в стену, а обе передние подсунул под ящик. Скреб, толкал, пыхтел, но ничего не получалось. Вдруг он услышал из ящика чей-то голос:

— Эй, кот, да ты совсем упарился! Небось колбаски захотелось? Я тебе помогу. Подожди, я просуну веревку в замочную скважину, а ты тяни…

И действительно, в замочной скважине появилась веревка, Игнасий схватил ее зубами, сел на хвост и, помогая себе всеми четырьмя лапами, попятился, таща за собой ящик.

— Ну что, сам заберешься или сбросить тебе колбаски? — услышал Игнасий. Но кот уже сидел в ящике с длинным батоном колбасы в зубах.

— Благодарю вас за любезность, которую вы мне оказали, — протянув веревочку, произнес кот, не выпуская из пасти колбасы, и торжественно поклонился. — Меня зовут Игнасий.

— А я — Федя, — ответил трубочист. — Никогда в жизни не слышал такого красивого кошачьего имени. Не то что Васька или Барсик.

— Да, — важно кивнул Игнасий, — меня назвали так в один памятный

мне день в честь знаменитого монаха… — И кот вздохнул.

— Между прочим, я могу открыть тебе консервную банку с ветчиной. Хочешь?

— Не стану отказываться. Ветчина полезна для здоровья.

Федя достал из кармана свой замечательный нож, вытянул из него лезвие для открывания консервов и открыл коту большую продолговатую банку, на которой была нарисована улыбающаяся свинья. Вдвоем они справились с ветчиной. Пузо у кота раздулось, он почувствовал жажду:

— Федя, а нет ли тут молока? Или, на худой конец, воды?

С этим очень плохо, — отвечал Федя. — Молоко Одинокая Мышь держит в холодильнике на кухне, а я туда не заглядываю. Здесь, в шкафу, есть несколько бутылок с сиропом, но он очень уж сладкий, пить противно. И еще есть уксус. Слишком кисло. Мне приходится вылезать на крышу за водой во время дождя. Ведро к водосточной трубе подвешиваю. Но вчера вода как раз кончилась. А на кухню — нет, предпочитаю не ходить. С тех пор, как я здесь живу, я не хочу попадаться ей на глаза.

— Погоди, погоди, — изумился кот, — так ты и есть то существо, которое поселилось в шкафу?

И тут кот лег на спину, чтобы удобнее было смеяться, и захохотал так, что его набитое колбасой и ветчиной пузо заходило ходуном. Отсмеявшись, он продолжал:

— Знаешь ли ты, что Одинокая Мышь купила меня на рынке сегодня утром специально для того, чтобы я тебя поймал?

Теперь настала Федина очередь смеяться — где это видано, чтобы коты охотились за трубочистами?

Но что уж тут поделаешь, если жизнь так устроена?

— Федя, я умираю от жажды, сейчас я принесу молока, — сказал Игнасий и прыгнул из ящика в кухню. Через несколько минут Игнасий позвал Федю. Оказалось, что холодильник у Мыши был заперт на замок, но ключик она оставила в замке. Коту было трудно его повернуть. Но Феде это было раз плюнуть — он залез на спину Игнасию, открыл дверцу и достал молока.

После того, как они напились, кот зажмурился, важно поклонился и произнес:

— Мне было очень приятно с тобой познакомиться. Мы прекрасно поужинали, и, на мой взгляд, пора ложиться спать. Старуха Мышь кинула мне какую-то тощую подстилку, как дворняге, но делать нечего…

— Знаешь что, Игнасий, — почесывая ногу об ногу, предложил Федя, — переезжай-ка ты в шкаф. Там ты найдешь и перину, и подушку. Я

тебе покажу главную дорогу через дымоход, если ты, конечно, не станешь об этом болтать.

Игнасий, услышав такое предложение, кувыркнулся от радости, насколько ему позволяло набитое брюхо и природная важность, и полез в указанном направлении…

Глава 9
Пожар

Игнасий и Федя замечательно устроились на ночь в самом большом ящике на первом этаже, между двумя пуховыми перинами. От Игнасия исходило приятное кошачье тепло, и Федя мгновенно уснул. Игнасий же от волнений этого дня никак не мог уснуть. Полчаса проворочавшись, он пихнул Федю лапой в живот и спросил, не хочет ли Федя чем-нибудь развлечься. Развлекаться Федя любил, вопрос был лишь в том, как именно.

— Давай сыграем в карты, — предложил Игнасий. — Должны же быть у старухи Мыши где-нибудь карты.

Федя вспомнил, что видел карты в одном из ящиков четвертого этажа, но в такой темноте их будет трудно разыскать.

— Ты возьми фонарик и иди вперед, а я за тобой.

— Я и без фонаря прекрасно вижу в темноте, пошли! — велел кот.

Федя был сговорчив, и они полезли между ящиками в четвертый этаж, где довольно быстро нашлись карты. Они были старые и такие засаленные, что Игнасий взял их брезгливо и проворчал, что на них, наверное, картошку жареную ели…

Они вернулись в свою «спальню», сдвинули одну из перин, на другую сели, поставили между собой свечу в обломанном подсвечнике и начали играть. Играли не на деньги — на Мышиные ящики. Хитрый Игнасий выигрывал одну партию за другой, и через час Федя проиграл коту восемнадцать ящиков первого этажа. Федя давно уже понял, что имеет дело с настоящим мастером картежной игры. Так оно и было — Игнасий был необыкновенно ловкий картежный шулер. Своей толстой мохнатой лапой он прикрывал колоду и, когда надо было взять одну карту, тянул еще парочку лишних. Всякую мелкую пташку вроде шестерок и семерок он клал себе под зад, а карты позначительней и, конечно, козырей оставлял на руках.

Федя не замечал его хитростей, только удивлялся, до чего же Игнасию везет. Наконец Феде показалось, что колода слишком быстро кончается, и он предложил Игнасию пойти посмотреть, не оставили ли они в ящике часть колоды.

— Давай, давай сходим, — посмеиваясь в усы, поддержал Игнасий, — действительно, что-то больно быстро кончается колода.

И они полезли наверх. Фонарик Федя взял с собой, а горящую свечку

оставили в ящике.

Никаких карт на старом месте, конечно, не оказалось. Зато Федя нашел сломанный свисток и горсть грецких орехов. Игнасий до орехов был не охотник, но помог Феде их поколоть. Они вместе нашли подходящий маленький ящичек, засовывали под дверцу орех и на счет «раз, два, три» с силой хлопали. Это занятие понравилось Феде гораздо больше, чем проигрывать в карты. Пока они возились с орехами, свеча сильно оплыла воском и перевернулась. Замасленные карты с треском разгорелись, старая перинка — тоже, и ящик на первом этаже запылал, как хороший костер.

Довольно скоро чуткий на запахи Игнасий почувствовал запах гари. Как всякий нормальный кот, больше всего на свете он не любил воды и огня. Шерсть у него встала дыбом, он еще раз принюхался и сказал Феде только одно слово: «Бежим!»

Толком не поняв, в чем дело, Федя поспешил за котом. Проход между этажами был узкий, они протискивались с трудом, впереди Игнасий, за ним Федя. Федя только диву давался, когда это кот успел запомнить дорогу, да еще в такой темноте. Дыму было все больше и больше. С необыкновенной ловкостью пробирался Игнасий по дымоходу, вылез через трубу на крышу и по водосточной трубе наполовину скатился, наполовину съехал на землю. Через некоторое время Федя, который отстал по дороге, тоже приземлился у водосточной трубы.

— Да, такого приключения у меня еще не было, — причесывая усы, сказал Игнасий, — это, конечно, от нашей свечи пожар разгорелся. Давай отойдем в сторону, посмотрим, как будет гореть Мышиный дом. Увидишь, пожар будет замечательный!

— Ох! — вскочил Федя. — Одинокая Мышь в доме! Надо ее спасать!

— Спасать Мышь? Ну, это уж без меня. И тебе не советую, — недовольно проворчал кот.

Глава 10
Спасение Одинокой Мыши

Но Феди уже не было рядом с Игнасием. Он несся к входной двери. Дверь была, конечно, заперта. На всякий случай Федя звякнул в звонок, грохнул по двери кулаком, а потом уж полез на крышу по водосточной трубе. Это было гораздо труднее, чем спускаться с нее, но все-таки у Феди был большой опыт лазанья по крышам и трубам. Он вскарабкался на крышу. Из трубы шел черный дым, но Федя, не раздумывая долго, исчез в трубе. В дымоходе было темно и дымно — это в шкафу тлели, а кое-где уже полыхали Мышиные сокровища. С трудом нашел Федя проход в шкаф. Во внутренних комнатах тоже сильно пахло гарью, но пока весь пожар происходил в шкафу. Огню из ящиков не так просто было вырваться.

Федя вбежал в Мышиную спальню с криком:

— Пожар! Спасайтесь!

Мышь мгновенно вскочила с кровати, поморгала своими круглыми глазками, ничего со сна не соображая.

— Пожар, пожар, говорю! Шкаф горит! — орал Федя.

— Боже мой! — простонала Мышь. — Какой кошмар! Надо спасать имущество!

— Надо спасать жизнь! Как только прогорят стенки ящиков, мы погибнем! — Федя тянул Мышь к окну.

Но Одинокая Мышь вырвалась из Фединых рук и металась как угорелая (возможно, она действительно угорела, потому что запах гари делался все сильнее). Она хватала в лапы первые попавшиеся вещи, носилась с ними по комнате из угла в угол. К груди она прижимала большую подушку, в одной лапе зажала кофейник, в другой — часы и еще пыталась ухватить с окна цветочный горшок.

Тем временем из шкафа показались первые язычки пламени.

— Бежим! Скорее! Где ключ от двери? — кричал Федя.

Обычно ключи лежали у Мыши под подушкой, но, когда она схватила подушку, ключи упали на пол. Она кинулась к кровати — ключей не было.

— Украли! Мои ключи! — завопила Мышь и кинулась к окну. Дрожащими лапами она хотела открыть задвижку, но это ей не удавалось. Тогда она хватила часами по стеклу, раздался двойной звон — разбитых часов и вылетевшего стекла.

Тем временем Федя поднял с полу ключи.

Мышь совершенно ничего не соображала. Она все еще пыталась спасать свое имущество. Она пихнула в окно стул, но он застрял в оконном проеме. Она протиснула в окно подушку и выбросила кофейник. Язычки пламени из нежных и маленьких превращались в большие и яркие. Федя понял, что нельзя ждать ни минуты. Он схватил Одинокую Мышь на руки — это было совсем не просто, она была очень большая и толстая и весила никак не меньше Феди. К тому же она отбивалась, даже пыталась укусить Федю в плечо. Но Федя волок ее к двери, а за ним тянулась скатерть, которую Мышь ни за что не хотела выпускать из лап. В прихожей было совершенно темно от дыма и нечем дышать. С большим трудом Федя отпер задвижку, большой крюк, цепочку и два замка, на которые была заперта дверь.

В тот самый миг, когда они вывалились из двери на улицу, шкаф не выдержал напора огня и запылал огромным костром.

Как только Одинокая Мышь очутилась на улице, она потеряла сознание и упала на спинку.

Федя обмахивал ее скатертью, выпавшей из ее лап, и одновременно вытирал со лба пот. Возле дома уже собралась толпа соседей. Кто-то вызвал пожарную машину, а некоторые даже подумывали о том, не попробовать ли самим начать тушить пожар. Таракан сказал, что сейчас сходит домой и поищет книгу о тушении пожаров — у него была лучшая библиотека в городе. Змея мудро улыбнулась и посоветовала ему принести лучше ведро с водой.

Тем временем приехали пожарные, размотали свои шланги и быстро загасили остатки того, что недавно было Мышиным домом. Потом они стали сматывать свои шланги, и Змея мудро уползла к себе домой, испугавшись, как бы ее не смотали вместе со шлангами.

Наконец Одинокая Мышь открыла глаза, вздохнула и тихо заплакала.

— Где Федя? — прошептала она. — Он спас мне жизнь. Ему надо дать медаль «За спасение погибающих».

Голова ее лежала на подушке, она была прикрыта скатертью, а рядом с ней стоял ее любимый кофейник. Это было все, что у нее осталось.

Глава последняя
И самая короткая

Вот и вся история про Одинокую Мышь. Остается только добавить, что благородный Таракан пригласил ее жить к себе. Вскоре они поженились, и оба вполне счастливы. Одинокая Мышь гордится тем, что у нее такой умный и образованный муж, а Таракан очень ее уважает за те замечательные обеды, которые она ему готовит каждый день — кроме тех случаев, когда Таракану после особенно вкусного обеда хочется поспать денек-другой. Но это бывает редко, вообще он старается обедов не просыпать.

Одинокой Мыши, конечно, жаль и шкафа, и имущества, но все-таки она очень довольна своим новым положением — она ведь перестала быть одинокой.

Федя иногда заходит к ним в гости — Мышь на него совсем не сердится. Ни за то, что он когда-то поселился у нее в шкафу, ни за его проделки, ни за пожар. К его приходу она печет пирог с вареньем. И хотя Таракан успевает съесть большую часть, зато Феде всегда достается большой кусок из самой серединки.

Игнасий исчез. С того момента, как Федя полез на крышу для спасения Одинокой Мыши, его никто больше не видел. Таковы коты.

А Мышь уже больше не пишет к Новому году 188 поздравительных открыток. Она пишет одну-единственную. Догадайтесь — кому?

История о старике Кулебякине, плаксивой кобыле Миле и жеребенке Равкине

Старик Кулебякин был добрейший человек. Если бы не так, он давно бы уже переехал из своего деревенского домика-развалюхи в новую просторную однокомнатную квартиру в самом центре города. Но по своей доброте он не мог не считаться с кобылой Милой, которая жила у него уже больше двадцати лет. А она всякий раз, когда он затевал разговор о переезде, начинала плакать. И приходилось им вдвоём, старику Кулебякину и жеребёнку Равкину её утешать. А утешать её было совсем не просто. Старик бежал в станционный буфет за двенадцать километров и покупал там булочку с маком, а жеребёнок Равкин чего только не делал, чтобы утешить плаксивую кобылу Милу: на дудочке играл, кувыркался, ходил на передних ногах, проигрывал ей в шахматы и пел романс «Я помню чудное мгновенье»…

Кое-как Милу утешали, и старик Кулебякин зарекался говорить с ней о переезде, однако долго не выдерживал — и нет-нет — опять заговаривал. Уж больно надоел ему домик-развалюха без водопровода, без газа, с уборной во дворе. Но Мила опять начинала плакать, даже не объясняя никак своего нежелания переезжать.

В конце концов она сказала:

— Кулебякин! Нас загонят на пятый этаж без лифта. Я терпеть не могу высоты. На балконе мне будет страшно, а переезжать в квартиру без балкона обидно, раз у других балконы есть. Я не умею ходить вниз по лестнице, да и вверх по лестнице, признаться, мне тоже не нравится ходить. Я не хочу пить воду из унитаза. Я уже старая кобыла, я хочу умереть в своём доме, а не в проклятой однокомнатной квартире.

Кулебякин возражал, как мог:

— Мы не поедем на пятый. Нам дадут квартиру на первом этаже. Мы посадим деревья под окном так, чтобы ветки заглядывали в окно. Я никогда не предложу тебе пить из унитаза, будешь пить из своего ведра, к которому ты привыкла. И недалеко от нас, просто в двух шагах, будет кафе, и там можно будет в любой момент купить тебе булочку с маком, а мне — бутылку пива.

Но на Милу такие слова не действовали — она опять начинала плакать. В конце концов не выдержал Равкин:

— Послушай, Мила, — сказал он. — Я ещё молодой. У меня вся жизнь впереди. Я хочу получить образование, чтобы в нашей семье был хоть кто-нибудь с высшим образованием. Я хочу стать цирковой лошадью. Неужели ты не понимаешь, что нам необходимо переехать в город, чтобы я мог поступить в цирк?

Мила задумалась, опустив голову. Так она простояла всю ночь и половину следующего дня — она вовсе не была глупой, просто она медленно думала. Наконец она сказала:

— Равкин, ты прав. Тебе действительно надо получить образование. Сегодня ночью я вспомнила, что, когда я была молодой, я тоже хотела стать цирковой лошадью. Но тогда была война, и мне пришлось вместо цирка служить в обозе. Я согласна переехать, только пусть Кулебякин знает, что на пятый этаж я не поеду ни за какие деньги, это — во-первых. А во-вторых, чтоб каждый день у меня была булочка с маком.

И на всякий случай она опять заплакала.

Равкин немедленно побежал к старику Кулебякину сообщить, что Мила согласна переезжать, а уж потом взял свою дудочку и стал играть Миле самую весёлую из известных ему песен.

В один прекрасный день Кулебякин сложил в тележку все свои пожитки: ведро, кастрюлю, веник, телевизор, который никогда не работал, три подушки, ложку и свои вставные зубы, которые были очень красивые, но такие неудобные, что он держал их обыкновенно на окошке просто для красоты.

Потом Кулебякин долго извинялся перед Милой, что ей придётся их перевозить. Наконец он запряг её, и они поехали. То есть поехала тележка, а Кулебякин, конечно, шёл позади и подталкивал тележку. Равкин бежал рядом, с ключом от новой квартиры в зубах, а Мила на всякий случай плакала.

Наконец они доехали до центра города и остановились около очень симпатичного пятиэтажного дома, в котором все квартиры были заселены, кроме одной, на первом этаже. В неё и въезжали. Кулебякин вносил вещи, а Мила стояла у подъезда и крутила головой, и слезы от этого падали в разные стороны, на большое расстояние, и весь дом видел, как убивается кобыла Мила, переезжая на новую квартиру.

Старик Кулебякин тихонько просил её перестать плакать, потому что жильцы дома могут подумать, что он плохо с ней обращается, и вызвать милицию.

Равкину в новой квартире всё очень нравилось: и газ, и водопровод, и выключатели. Он быстро научился пользоваться всеми этими штучками, а

Мила плакала не переставая, так что старику Кулебякину пришлось подставить ведро, чтобы она не мочила паркет, потому что он от воды, то есть от слез, портился. И быстро сбегал за булочкой.

На следующее утро, а это было воскресенье, самый рабочий из всех рабочих дней в цирке, Равкин проснулся очень рано, надел кулебякинскую кепочку, причём без спросу, — Кулебякин, конечно, разрешил бы, но он ещё спал, и Равкин не хотел его будить, — и побежал в цирк.

Он подошёл к служебному входу и спросил у швейцара в униформе с большими металлическими пуговицами, нельзя ли видеть директора.

— А по какому вопросу? — спросил швейцар.

— Видите ли, я бы хотел поступить в цирк учиться, то есть работать. В общем, я не умею ничего такого, что мне хотелось бы… — Тут Равкин совершенно запутался и замолк.

Швейцар смотрел на него строго и задумчиво, как будто решал что-то. И Равкин подумал, что, наверное, он и есть директор цирка.

— Нет, — сказал швейцар. — Ты нам не подойдёшь. У нас уже есть лошади. Вот если бы ты был лев, тогда можно было бы ещё подумать.

— Нет, — вздохнул Равкин, — я не лев, я жеребёнок.

— Ну, тогда хоть леопард!

— Нет, я не леопард. Я жеребёнок.

— Ну ладно, не огорчайся. В конце концов, я тоже не директор цирка, нанимать зверей не моя забота. Зайди к директору, вон по тому коридорчику, потом вниз. Первая дверь налево.

И Равкин пошёл к директору. Он нашёл нужную дверь и постучал легонько копытом.

— Войдите, войдите! — раздался голос за дверью.

И Равкин вошёл. Толстый лысый человек в майке сидел за столом. Перед ним на столе стояли четыре бутылки лимонада, полный ящик мороженого в стаканчиках и куча леденцовых петушков на палочках.

— Здравствуйте, — пробормотал Равкин.

— Здравствуй, здравствуй, дорогой! Что тебе нужно? Ты, наверное, хочешь работать в цирке, но ничего не умеешь делать и хотел бы научиться цирковой науке? — спросил директор.

— Да, — вздохнул Равкин и понял, что всё пропало.

— Ну ладно, поговорим потом. Сейчас я как раз собираюсь завтракать. Надеюсь, ты ещё не завтракал? Давай-ка поближе к столу. Я терпеть не могу есть в одиночестве.

Равкин сел на стул, который подвинул ему директор. Директор дал Равкину бутылку лимонада, четыре порции мороженого и двух петушков.

Пока Равкин любовался этими красными петушками, чья-то маленькая коричневая ручка — раз-раз! — и вытянула их из-под носа. Это была обезьянка, которая до этого момента сидела тихо на шкафу и ни во что не вмешивалась. Директор увидел, как она стащила петушков, и сделал ей замечание:

— Генриетта, отдай петушков. Да, кстати, как тебя зовут?

— Равкин.

— Так вот, Генриетта, отдай петушков Равкину, а то вообще ничего не получишь.

Как ни странно, бесцеремонная обезьянка послушалась и сунула петушков Равкину прямо в ухо.

— Так, так, так, — сказал директор. — Сейчас я тебя расшифрую. Ты, наверное, сын Радия и Виконтессы?

— Нет, — удивился Равкин.

— Тогда ты, наверное, сын Раймоны и Виктора?

— Нет.

Так откуда же образовалось твоё имя? Разве ты не знаешь, как называют жеребят? Берут первые буквы имени их родителей и получают новое имя. Например, мать Балерина, отец — Дар. Их ребёнок будет Бал-да. Да. Не очень красивое имя получилось. Возьмём другой пример: мать — Даная, отец — Морской, их жеребёнку дадут имя Мор-да. Да. Опять не очень красиво получилось. Так ты скажи, как же твоё-то имя образовалось?

— Да никак особенно, — ответил Равкин. — Просто в тот день, когда старик Кулебякин нашёл меня совсем маленького на выгоне, как раз выросла новая зелёная травка. Он взял зелёную краску, другой у него и не было, и написал на загородке: «ТРАВКИН», но первая доска держалась на одном гвоздике, я взбрыкнул копытом, и она оторвалась вместе с первой буквой, и вместо ТРАВКИН я сделался РАВКИН.

— Да, очень интересно, — кивнул директор. — Да ты ешь мороженое. Какое ты больше всего любишь? Я — фруктовое.

— А я ещё никогда не пробовал мороженого, — сказал Равкин.

— Да ты что? — изумился директор. — Неужели такие существа на свете бывают? Скорей попробуй, как оно тебе?

Равкин аккуратно положил в рот стаканчик с мороженым и закрыл глаза. Он молчал.

— Ну, как оно тебе? — нервничал директор. — Ну, что же ты молчишь? Нравится? — Равкин молчал.

— Что, не нравится?

Но Равкин всё молчал. А потом сказал:

— Это, как его, мороженое — просто как музыка во рту. И оно растаяло как музыка, но что-то прекрасное во мне осталось, как остается после музыки.

— Вот именно! Вот именно! — закричал директор, — Возьми фруктовое, розовое, оно имеет отношение к «Венскому вальсу».

И они съели весь ящик мороженого. Обезьянка сидела на шкафу и скалила зубы — ей директор не дал мороженого, потому что у неё вчера болело горло. Она грызла леденцовых петушков вместе с палочками и сердилась.

Когда мороженое было съедено, директор спросил Равкина:

— Ты умеешь бегать по кругу?

— Я никогда не пробовал, так что можно считать, что не умею, — честно признался Равкин.

— А ты умеешь брать барьеры?

— А что это такое? — переспросил Равкин.

— Это значит на полном бегу перепрыгнуть через заборчик, — объяснил директор.

— Этого мне тоже не приходилось делать.

— Так. Танцевать ты, конечно, тоже не умеешь. Это плохо, что ты ничего не умеешь. Но все-таки пойдём на арену, ты пробежишь кружок-другой, а я посмотрю, как это у тебя получается.

И они вышли на арену. Ах, как понравилась Равкину арена!

Она была посыпана опилками, и пахли они так восхитительно, что Равкин подумал, что сегодня у него самый счастливый день в жизни, потому что он ел мороженое и видел арену цирка, и что теперь весь остаток жизни он будет вспоминать об этом счастливом дне.

— Ну, чего ты мешкаешь, иди сюда и пробеги кружок.

Равкин стал бегать по кругу, пока директор не остановил его:

— Плохо дело. Ты слишком забрасываешь задние ноги при беге и задираешь голову, это никуда не годится. Попробуй теперь взять барьер.

Равкин разбежался и прыгнул. Он прыгнул гораздо выше барьера, но его прыжок был скорее в высоту, чем в длину, и поэтому, когда он приземлялся, задние копыта зацепили барьерчик, и он упал на жёлтые опилки вместе с барьерчиком.

— Да-а, — задумчиво произнес директор. — Ну просто не знаю, к чему тебя приспособить. Может, ты умеешь ходить на задних ногах?

— Нет. Не умею. Только на передних, — чуть не плача, сказал Равкин.

— Ты хочешь сказать, что умеешь ходить только на всех четырёх?

— Нет, я хочу сказать, что я не умею ходить на одних задних, я умею

ходить только на одних передних. Да что толку, если нужно как раз на задних…

— А ну покажи, — попросил директор просто так, на всякий случай.

И тогда Равкин задрал вверх задние ноги и пошёл не спеша на передних вокруг арены. Он сделал полный круг и остановился возле потрясенного директора.

— Ну, я тебе скажу… — развёл директор коротенькими руками. — А что ты ещё умеешь делать?

— Да я же говорю, ничего.

— Да, ты говоришь — ничего, а после показываешь такой удивительный номер. Вот я потому и спрашиваю: что ещё ты умеешь делать?

— Ничего.

— Ладно. Того, что ты умеешь, вполне достаточно, чтобы взять тебя в цирк.

Равкин опустился от неожиданности на все четыре ноги и тихо сказал:

— Это правда? Ты не шутишь?

— Какие тут шутки! У тебя готовый номер — жеребёнок, который ходит на передних ногах. Я ужасно рад, что ты пришёл к нам в цирк. Даже если бы ты умел петь романсы или играть на дудочке, я бы не смог обрадоваться больше, чем сейчас! — сказал директор.

— Послушай, но все-таки немного бы обрадовался? Я ведь немного умею петь и играть на дудочке. Только дудочка осталась дома. Но я могу за ней сбегать!

— На тебе дудочку! — И директор немедленно вынул из кармана деревянную дудочку.

Равкин сел на стул и заиграл. Потом директор взял у него дудочку и заиграл сам. Пожалуй, директор играл несколько лучше, чем Равкин, но зато, когда Равкин запел своим прекрасным голосом романс «Я помню чудное мгновенье», директор прослезился. А когда Равкин дошел до «Я встретил вас», директор попросил немедленно прекратить пение, потому что врачи категорически запретили ему волноваться, а он чувствует себя таким взволнованным, как никогда в жизни.

Директор пожал Равкину копыто, поцеловал в холку и попросил, чтобы он немедленно привёл в цирк своих родителей.

— Я приведу кобылу Милу и старика Кулебякина, они у меня вместо родителей, — сказал Равкин и побежал домой, высоко задирая на бегу задние ноги и закидывая голову, но это уже не имело никакого значения. Он был уже принят в цирк!

Когда он прибежал домой, кобыла Мила, как всегда, плакала, на этот раз из-за того, что в комнате не было изгороди, на которую она привыкла класть подушку, прежде чем положить на подушку голову.

Старик Кулебякин вбил гвоздик и повесил на него подушку, но так Миле не нравилось, и она теперь плакала, зачем она допустила такую глупость и согласилась переехать в город.

Кулебякин уже побежал в кафе за булочкой, а по дороге ему ещё нужно было раздобыть доску, чтобы сделать на стене полочку для подушки или, может, если Миле не понравится полочка, сбить загородку, на которую она сможет положить подушку, а уж на подушку — голову.

— Мила! — закричал Равкин с порога. — Меня приняли в цирк! Пойдём скорее к директору, он хочет познакомиться с тобой и с Кулебякиным!

— Ты сошел с ума, я никуда не пойду в таком виде. У меня заплаканные глаза, и вообще я сегодня плохо выгляжу! — отрезала Мила.

— Мила! — взмолился Равкин. — У тебя всегда заплаканные глаза, и выглядишь ты, по-моему, всегда одинаково. А директор цирка очень хочет с тобой познакомиться.

В это время пришел Кулебякин с доской и булочкой с маком. Равкин ему рассказал всё как было, и Кулебякин страшно обрадовался и начал уговаривать Милу поскорее привести себя в порядок и идти в цирк. Мила наконец пошла в ванную и долго там сморкалась, всхлипывала, причёсывалась и пудрилась. Вышла она при полном параде и даже с ленточкой в гриве. Кулебякин и Равкин даже удивились, какая она еще интересная кобыла (откровенно говоря, она была совсем немолодая, ведь двадцать лошадиных — это совершенно не то же самое, что двадцать человечьих).

И вот они втроём пошли в цирк: впереди бежал Равкин в кулебякинской кепочке, которую ему Кулебякин на радостях подарил, а позади шла очень интересная кобыла Мила и старик Кулебякин в старой пилотке, которая сохранилась ещё с того военного времени, когда он служил в обозе. Вид у них был очень торжественный.

Так и пришли они к директору цирка. Директор ждал их у себя в кабинете, и на столе перед ним стоял полный ящик мороженого. Директор тут же пригласил их к столу — пообедать мороженым. Но кобыла отказалась, сказавши, что любит только булочки с маком и ничего нового никогда не пробует. Равкин наступил ей под столом на копыто и шепнул:

— Мила, попробуй, это мороженое — вкуснее всего на свете!

Но Мила только фыркнула. Кулебякин, напротив, не стал ломаться, а

съел четыре стаканчика, запивая лимонадом. Хотя на самом деле пиво он любил гораздо больше, чем лимонад.

Когда они таким образом пообедали, директор объявил очень торжественно, что принимает Равкина в цирк, потому что Равкин умеет делать то, чего ни одна лошадь на свете делать не умеет, и что он восхищен стариком Кулебякиным, который сумел Равкина всему этому обучить. Кулебякин только плечами пожал:

— Да я его ничему и не учил. Наоборот, он умеет делать многое такое, чего я сам не могу. Например, Равкин умеет кувыркаться, а я в силу моего возраста совершенно этого не могу. Или взять шахматы: ведь это Равкин меня научил, и с каким трудом! Откровенно говоря, я так ни разу у Равкина и не выиграл…

Тут Мила фыркнула — она вообще не любила, когда кого-нибудь хвалили:

— Оставь, пожалуйста, Кулебякин, не так уж он хорошо играет. У меня он, между прочим, ни разу не выиграл.

Равкин ужасно смутился. Мила действительно играла в шахматы хорошо, но он никогда не выигрывал просто потому, что не хотел её огорчать.

Директор тотчас же предложил сыграть партию, и Генриетта достала со шкафа деревянную коробку с фигурами…

Вот и всё. Осталось рассказать немного. Они все живут теперь при цирке. Равкин выступает на арене — он ходит на передних ногах, играет на дудочке, а «на бис» поёт романсы. Зрители его обожают, хотя никто не верит, что поёт он сам. Все думают, что это транслируют по радио какую-то запись, а жеребёнок только открывает рот. Это потому что уж больно хорошо он поёт. Для лошади.

Мила во время выступлений непременно сидит в первом ряду с недовольным видом, но аккуратно причёсанная и с бантиком в гриве. В свободное от выступлений время она играет в шахматы с директором, но пока что ему ни разу не удалось выиграть. Об этом, конечно, никому не рассказывают, потому что всё равно никто не поверит.

Старик Кулебякин из старой тележки оборудовал настоящий цирковой фургон, обил его парусиной и написал зелёной краской: «Здесь живёт знаменитый цирковой жеребёнок Равкин, кобыла Мила и старик Кулебякин».

Но Мила как увидела эту надпись, начала плакать, но ни за что не хотела сказать, чем ей эта надпись так не понравилась. Пришлось закрасить. Получилось большое зелёное пятно.

В фургон Кулебякин сложил все свои пожитки: ведро, кастрюлю, веник, сломанный телевизор, три подушки, ложку и свои вставные зубы, которые были очень красивые.

Они путешествуют вместе с цирком. Это всех вполне устраивает: Равкина — потому что он стал цирковой лошадью, кобылу Милу — потому что ей всё-таки не надо жить в городской квартире, а старика Кулебякина — потому что ему на самом деле нужно только одно — чтобы всем было хорошо!

История про воробья Антверпена, кота Михеева, столетника Васю и сороконожку Марью Семёновну с семьёй

Глава 1

До совместной истории воробья Антверпена, кота Михеева, столетника Васи и сороконожки Марьи Семёновны с семьёй у каждого была своя отдельная печальная история. Все они, кроме Марьи Семёновны, были неудачниками. Марья Семёновна была по природе такая скрытная, что про неё вообще ничего не было известно.

Встретились все они в покинутом доме. Люди, которые прежде здесь жили, переезжая на новое жильё, оставили весь свой хлам — сломанные стулья, изношенные ботинки и рваную одежду, старые кастрюли и гору обыкновенного мусора. Словом, оставили всё ненужное. А на окне оставили большой цветочный горшок с прекрасным столетником. Столетник поначалу решил, что хозяева его забыли и вскоре за ним вернутся. Но никто за ним не вернулся, и он остался один-одинёшенек в полуразрушенном домике, на щелястом подоконнике, под открытой форточкой. Никто не приходил. Столетник отчаялся ждать и понял, что его бросили.

Прежде он любил наблюдать за людьми, слушал их разговоры, иногда и ругань, теперь жилось ему скучновато, и единственным доступным занятием было чтение. Дело в том, что рядом с ним на подоконнике лежала открытая Энциклопедия, тоже совершенно ненужная бывшим хозяевам. Из форточки, которая постоянно была открыта, падали на подоконник снежинки и капли дождя, а порой задувал ветер. Ветер иногда бывал таким сильным, что переворачивал страницы Энциклопедии. Это случалось не так уж часто, но каждый раз столетник очень радовался, потому что к тому времени, когда ветер переворачивал очередную страницу, предыдущую он уже успевал выучить наизусть.

В общем, столетник Вася с тех пор, как остался один в покинутом доме, считал себя неудачником.

Глава 2

Ещё одним неудачником был кот Михеев. Он был неудачником от самого рождения: ему не повезло с семьёй. Мать его была дворовая кошка, а это совсем не то же самое, что кошка домашняя: ни одна живая душа о ней никогда не заботилась, никто никогда не сказал — надо бы пойти в магазин и купить нашей кошке мороженой рыбки или хотя бы кошачьего корма «Вискас», никто никогда не подумал — что-то блюдечко стоит пустое, не налить ли нашей кошке молока. Про михеевского отца вообще ничего не известно — да и был ли он?

Сам Михеев родился на чердаке. Мать была так невнимательна к сыну, что забыла дать ему имя и называла его просто «котёнок». Он её сосал две недели, потом ей это дело надоело, и она бросила его на произвол судьбы. Всё свободное время мать проводила в обществе несимпатичного и грубого кота. Котёнок сам спустился во двор, научился бегать от разных опасностей и рыться в помойке в поисках пропитания.

Ночевал он в подъезде, под дверью на третьем этаже. На двери было написано «кв. 5» и ещё «Михеев». Иногда туда приходил почтальон, звонил в дверь и говорил:

— Откройте, пожалуйста, я к Михееву.

«Если на двери написано «Михеев», значит, я тоже Михеев», — решил котёнок. Так котёнок перестал быть безымянным.

Дверь открывали, человек Михеев почтальона впускал, а котёнка, который тоже был теперь Михеевым, — ни в коем случае. Правда, иногда этот самый человек Михеев оставлял под дверью рыбью головку или старую котлету. Однажды, когда котёнок Михеев как раз пристроился под дверью, чтобы закусить кусочком старой колбасы, с чердака вниз спускалась мать-кошка с неприятнейшим котом, и тот выхватил прямо изо рта у котёнка только-только начатый кусок и мгновенно проглотил. А мать хоть бы слово сказала в защиту голодного ребёнка! Михеев страшно обиделся.

Все мы прекрасно понимаем, что это не очень-то хорошо — осуждать своих родителей, но иногда впадаем в этот грех. И Михеев осудил свою мать, решил окончательно порвать с ней всякие отношения и сменить место жительства. Навсегда!

И он ушёл.

Шёл он долго, спал под кустами, рылся на помойках в поисках еды,

бегал от собак и других опасных животных, в дороге он вырос настолько, что перестал быть котёнком и превратился в довольно большого серо-полосатого кота, худого и очень осторожного. Но места, в котором бы его приняли по-братски, всё не находилось.

Глава 3

А теперь — про воробья. В своей воробьиной семье он был самым слабым птенцом, — это оттого, что он простудился во младенчестве, всё детство проболел бронхитом и по этой причине был и ростом мал, и перышками жидковат. За его постоянный кашель его прозвали Перхачом, и имя это было очень обидным, тем более что у его братьев вообще не было никаких имён и они прекрасно без них обходились. К тому же они были сильные ребята и постоянно лупили и клевали слабого братишку. У них была любимая игра: стоило Перхачу задуматься, как кто-нибудь из братьев подлетал к нему сзади и крепко клевал в затылок. Пока бедняга тряс головой от боли, братья его, хохоча, окружали его и кричали хором:

— Угадай, кто тебя клюнул? Угадай, кто? Угадай, кто?

Перхач тыкал наугад в одного из братьев, а они только чирикали и смеялись:

— Не я! Не я!

Их, сильных, было много, целая толпа, а он, слабый Перхач, — один, и потому он держался от них подальше.

Однажды Перхач улетел от братьев на школьный двор, сел на школьный подоконник, пригрелся на солнышке и вдруг услышал, как учительница географии рассказывает ребятам о дальних странах. Речь шла об Антверпене, городе в Бельгии, о его гаванях, баржах, биржах и башнях.

«До чего же красивое слово «Антверпен»! — подумал Перхач. — Если бы меня звали Антверпеном, я был бы самым счастливым воробьем на свете. А с именем Перхач просто жить невозможно!»

И тут его осенило: он улетит куда-нибудь далеко-далеко, и в новых местах назовётся новым именем — Антверпен! И никто никогда не узнает его прежнего имени.

Он вспорхнул и, не попрощавшись с братьями, полетел в новые далёкие края. Он летел часа два, весь вспотел. Его слабые крылья устали, и к вечеру он приземлился возле полуразвалившегося домика, одиноко стоящего на пустыре. Место было незнакомое, совершенно новое и уж точно очень далеко от дома.

«Здесь я и поселюсь, — решил воробей. — Надо только найти, кому я могу сказать, что меня зовут Антверпен».

Он покрутил головой направо-налево, но не обнаружил никого, кому мог бы об этом сообщить. Тут он заметил, что форточка в дом приоткрыта,

и влетел в дом. На первый взгляд там никого не было.

— Здравствуйте! — сказал воробей на всякий случай. — Есть здесь живая душа?

Он не рассчитывал на ответ, но, как ни странно, его услышали. Раздался тихий голос:

— Здравствуйте. Меня зовут Вася. Очень приятно познакомиться.

Воробей не понял, откуда раздался этот голос. Он покрутил головой и спросил:

— А где вы, Вася?

— Я стою на подоконнике.

На подоконнике стоял глиняный горшок со столетником и лежала толстая книга — и больше ничего. Воробей сел на подоконник и стал заглядывать во все щели — никого, кто мог бы подавать голос, не обнаружил.

— Это я с вами разговариваю, я — столетник Вася.

— Первый раз слышу, чтобы растения разговаривали! — изумился воробей.

— Я очень давно живу на этом подоконнике, практически один. И от одиночества я научился читать и разговаривать. Правда, разговаривать не с кем. В дальнем углу живёт сороконожка Марья Семёновна, но она неразговорчива. А как вас зовут?

Наступил важнейший момент: у бывшего Перхача спросили, как его зовут.

— Меня зовут, — от волнения воробей даже запнулся, — Антверпен.

Итак, началась новая жизнь. Столетник качнул верхним листом и тихо сказал:

— Какое красивое имя!

И тут воробей страшно раскашлялся. То ли, пока летел, простудился, то ли под форточкой прохватило холодным воздухом, но, кажется, он опять заболевал бронхитом.

— Ах ты, господи, как расперхался! — посочувствовал воробью столетник Вася, а у бедного воробья просто дыханье перехватило: ну вот, сейчас столетник скажет, какой, мол, из тебя Антверпен, ты самый настоящий Перхач! И тогда всё пойдёт насмарку, придётся опять начинать жить сначала, опять лететь далеко-далеко и снова искать, кому бы представиться: не так уж часто спрашивают у воробьев, как их зовут.

Но Вася ничего такого не сказал, он сказал другое:

— Давай я тебя подлечу. Я ведь, в сущности, лекарственное растение. Отщипни немного от моего нижнего листа и пополощи горло моим соком.

И ты сразу выздоровеешь.

— А тебе не будет больно? — спросил Антверпен.

— Немного больно, но я потерплю.

— Спасибо тебе, Вася, — поблагодарил Антверпен и отщипнул немного от листа. Сок оказался невероятно горьким, но кашель сразу же прошёл.

— Я буду рад, если ты останешься здесь жить. Останься, пожалуйста, — попросил Вася. И воробей, конечно же, немедленно согласился. — В этом доме, когда здесь ещё жили люди, держали чижа в клетке. Поищи, она стояла на полке, — сказал Вася.

Действительно, на полке стояла клетка. Она была без дверцы, но это было как раз кстати: ведь Антверпен не собирался держать себя взаперти. Зато как приятно иметь крышу над головой — сидеть в своём собственном доме, который, в свою очередь, тоже стоит в собственном доме, а рядом такой приятный сосед!

Глава 4

Так они зажили вдвоём — потому что Марью Семёновну тогда ещё можно было не считать, — и зажили очень дружно. Антверпен каждое утро улетал подкормиться и попить и никогда не забывал принести в клюве водички, чтобы полить Васю. Конечно, во дворе домика стояла бочка, в которой скапливалась дождевая вода, но для питья она была малопригодна, поскольку дождей давно не было и старая вода в бочке зацвела. Не говоря уже о том, что до той воды Васе было не дотянуться. Пока Антверпен не появился в доме, Вася часто страдал от жажды: лишь изредка в открытую форточку капал дождь. Но это случалось слишком редко, и потому Вася рос медленно: без воды растения — даже если они родом из пустыни и умеют очень экономно расходовать влагу — очень плохо себя чувствуют. Теперь благодаря Антверпену Вася от жажды больше не страдал.

Со своей стороны, Вася совершенно излечил Антверпена от кашля. Первое время у воробья иногда случались простуды и бронхиты, но сок столетника быстро ему помогал. Оба они окрепли — Вася от регулярного полива, а Антверпен от целебного сока.

К тому же Антверпен каждое утро перед тем, как улететь на промысел, перелистывал страницу Энциклопедии, и Васе не надо было ждать, пока случайное дуновение ветра откроет перед ним новые знания.

Однажды вечером, когда Антверпен уютно уселся прямо на краю Васиного горшка и Вася рассказывал ему, как устроена электрическая лампочка, а об этом он как раз накануне прочитал в Энциклопедии на букву «Э», кто-то заскрёбся в дверь.

Естественно, это был кот Михеев.

Дверь скрипнула, и они услышали довольно робкий голос:

— Можно войти?

Приятели замерли: к ним в дом никто не ходил. Воробей посмотрел на Васю, Вася качнул верхним листом, и они отозвались:

— Пожалуйста, пожалуйста.

И вошёл кот Михеев.

Тьма была кромешная, и хотя кошки отлично видят в темноте, Михеев никого там не увидел, как ни пялился по сторонам.

— Здравствуйте, — на всякий случай поприветствовал Михеев невидимок.

— Здравствуйте, — услышал Михеев двухголосый ответ и удивился,

увидев сидящего на цветочном горшке одного-единственного воробья. Он говорил как будто за двоих.

— Не пустите ли вы меня переночевать? Только на одну ночь. Я одинокий путник и очень устал, — произнёс кот неуверенно.

— Какой воспитанный кот! — шепнул Антверпен Васе. Но у кота было не только отличное зрение — слух тоже был отменный, он услышал это замечание и сразу же возразил:

— Ну что вы! Какое там воспитание! На помойке вырос! Практически сирота!

— Заходи, раз сирота, — обрадовался Антверпен, вспомнив своих драчливых братьев.

Знакомство состоялось. Антверпен во второй раз в жизни, опять не без удовольствия, представился, а Вася обрадовался, что у него появился ещё один слушатель.

— Вы хотите сразу лечь спать или послушаете, как устроена электрическая лампочка?

Михеев, страшно уставший с дороги, очень изумился:

— А можно я прилягу и послушаю про лампочку лёжа?

Михеев осмотрелся, углядел своим ночным зрением старое пальто в углу комнаты и лёг на нём, растянувшись с полным комфортом. «Наверное, мне всё это снится», — подумал он перед тем, как заснуть по-настоящему. И уснул на целых двое суток.

Глава 5

Кота Михеева сразу же, как он проснулся, приняли в свою компанию, и Михеев в первый раз в жизни почувствовал, что находится в приличном обществе. Про воробья он думал, что тот очень знатного происхождения, потому что у него такая красивая фамилия. Но тут он был не прав, потому что Антверпен было его имя, а не фамилия, — фамилии у воробья вовсе не было, в отличие от Михеева, у которого, наоборот, фамилия была, а не было имени.

Васи кот сначала немного стеснялся — уж больно столетник был образованный и умный. Сам-то Михеев знал всего пять букв — М, И, Х, Е и В. Кроме того, он даже не знал, сколько именно букв он знает, потому что считать он умел только до четырёх, оттого что лап у него было четыре. Он полагал, что знает четыре буквы и ещё одну.

Постепенно Михеев пообвык, перестал стесняться и даже попросил Васю научить его грамоте, и Вася немедленно приступил к занятиям. К сожалению, дела шли не очень хорошо. Может, Михеев был не очень способным учеником, а может, Вася был не очень хорошим педагогом. Грамота продвигалась плохо, а вот зажили они очень дружно. Вася как мог занимался образованием Михеева и Антверпена, учил их всему, что прочитал в Энциклопедии, и лечил, когда была нужда, своим горьким соком.

Антверпен по-прежнему носил для Васи воду в клюве, а Михеев навёл в доме чистоту и порядок — кошки по природе очень чистоплотны! — и, к большой Васиной радости, разыскал в чулане самовар, начистил его и поставил на стол. С тех пор они каждый вечер проводили не на подоконнике, а за столом — пили чай. При этом Михеев очень аккуратно и почтительно переносил Васю вместе с его горшком на стол и ставил на почётное место около самовара, во главе стола. А рядом он ставил клеточку, в которую залетал Антверпен, садился на жёрдочку и чирикал что-нибудь весёленькое.

После чая Михеев ложился на спину, выпячивал свой белый живот, а Антверпен выклёвывал из шерсти блох, приговаривая:

— Маловаты блошки, зато как вкусны!

Глава 6

Так они жили. Иногда по ночам кот слышал какие-то вздохи и шорохи в дальнем углу, но не обращал на них внимания. Однажды ночью кто-то особенно развздыхался и расстонался. «Это, наверное, Марья Семёновна, — догадался кот. — Видно, заболела. Надо дать ей завтра каплю Васиного сока».

Вскоре вздохи и стоны сменились страшной вознёй, потом раздался писк, шебуршание и ещё какие-то непонятные звуки. В конце концов все услышали громкий шёпот Марьи Семёновны:

— Не расползайтесь! Вы потеряетесь! Вы пропадёте! Вас поймает кот! Вас съест воробей!

Возня не прекращалась до самого утра, а утром оказалось, что дом полон маленькими сороконожками. Они были необыкновенно подвижные, очень симпатичные, с блестящими глазками и пухлыми младенческими ножками. Наконец-то удалось разглядеть как следует и самоё Марью Семёновну, которая до этого момента и носа не высовывала из своего угла. Она оказалась простоватой робкой особой, к тому же довольно неповоротливой, несмотря на все свои многочисленные ножки. Теперь ей приходилось носиться по всей комнате, собирая деток в кучу. Время от времени раздавался чей-нибудь оглушительный рёв. Они были ещё глупенькие, постоянно падали, ушибались, где-то застревали. Один малыш залез на циферблат сломанных часов-ходиков, уцепился за минутную стрелку, и часы вдруг пошли, к восторгу малыша. Он целый час катался на минутной стрелке, прокрутился полный оборот, а потом одна из его ножек застряла между стрелкой и циферблатом, и он поднял дикий рёв. Марья Семёновна впала в панику, кинулась на стену, но никак не могла взобраться, несколько раз падала со стены.

Когда Антверпен подлетел к часам, чтобы снять малыша, она заорала не своим голосом, испугавшись, что воробей склюёт её непутёвого сыночка. Малыш при этом, не замолкая ни на минуту, орал тонким голосом.

Только утешили одного, как второй провалился в щель между половыми досками, и Михееву пришлось его оттуда выковыривать длинными когтями. Одна парочка не переставая колотила друг друга. Четверо самых рослых затеяли на столе играть в футбол сухой горошиной и гоняли её до тех пор, пока один дурачок не свалился со стола и не сломал

сразу четыре ножки. Пришлось его лечить Васиным соком. Надо сказать, что Вася и прежде был безотказен, по первой необходимости предоставлял свой толстый лист для медицинских целей, но с тех пор, как у Марьи Семёновны появились дети, ему всё чаще приходилось расставаться с листочками.

От этого детского сада все сбились с ног, а у Васи даже начались головные боли. Правда, он точно не мог сказать, где именно голова у него находится. Где-то в районе верхних листьев.

Малыши быстро съели всё съедобное, что обнаружили в доме, и вопили от голода. Марья Семёновна оказалась совершенно не приспособленной к жизни: прежде у неё никогда не было детей, и она не знала, как и чем их кормить. Михеев схватил бидон и побежал за молоком — неизвестно куда. Уходя, он проворчал:

— Я бы лишил её материнства! Какая беспомощность! Безобразие!

Часа через два он пришёл, страшно усталый, весь в пыли, но с полным бидоном молока. Он налил молоко в блюдечко, и малыши накинулись на еду, отталкивая друг друга ногами.

— А ну по очереди! — прикрикнул Михеев. Как ни странно, малыши его послушались. Марья Семёновна смотрела на кота с восхищением, потом подошла к нему и тихо-тихо прошептала:

— Большое вам спасибо, Михеев, вы меня так выручили! Я и не знала, что вы такой добрый. Я вас всегда так боялась.

И заплакала. А Михеев отвернулся и пробормотал в сторону:

— Да ничего, ничего, пустяки. Я детей люблю. У меня у самого было такое тяжёлое детство, — и вздохнул.

Маленькие сороконожки немедленно вылакали всё молоко, животы у них раздулись, ножки ослабели, и они вповалку заснули тут же, около блюдечка.

«Ну, просто как котята», — подумал Михеев.

Глава 7

В домике опять началась совершенно новая жизнь. Михеев нанялся охранять амбар от мышей в соседней деревне — за это ему наливали каждое утро бидон молока. Антверпен целый день нянчился с малышами. Ему приходилось по двадцать раз на дню спасать из беды то одного, то другого. Кроме того, он должен был успеть слетать за водой для себя и Васи, а по дороге ещё и склевать несколько зёрнышек, подкормиться. Он похудел и выглядел озабоченным.

Помимо молока, детки любили и всякую другую пищу, которая попадалась.

Не просили есть они только в двух случаях: пока жевали и когда спали. Мама-сороконожка разрывалась на части между шитьём и поисками пищи. Она сшила Антверпену рюкзачок, и теперь Антверпен тоже без корма для детей домой не возвращался. Он собирал зёрнышки и варил из них детям кашу на молоке. Все выбивались из сил. Марья Семёновна говорила, что просто погибла бы, если бы не помощь друзей.

Конечно, ей доставалось больше всех: ей надо было всех их умыть, причесать, уложить спать, а они были такие непослушные, что нельзя было сказать, что кто-то из них особенно плохо себя ведёт — все они вели себя только плохо.

Кроме того, они были совершенно неотличимы, и это создавало для воспитания большие сложности. Если провинившегося сразу не схватить за шиворот и не наказать немедленно, он убегал, и разыскать его среди братьев было совершенно невозможно. Только по штанам. Марья Семёновна специально шила для них разного цвета штаны, но они вырастали так быстро, и Марье Семёновне приходилось целыми днями шить. И хотя Марья Семёновна шила одновременно двадцать пар — каждой парой своих ножек по паре штанов, — всё равно несколько ребятишек оказывались голозадыми.

Столетник Вася был озабочен воспитанием больше всех, он чувствовал, как глава дома, ответственность за всю эту семью. В Энциклопедии, которую он прочитал от корки до корки, была всего одна статья по педагогике, он знал её наизусть, но этого было явно недостаточно. Он чувствовал пробел в своём образовании. Действительно, какое имеет значение, если ты знаешь, как устроена электрическая лампочка, почему летает самолёт и что такое обмен веществ, но не можешь

объяснить ребёнку, почему не надо есть кашу восемью ногами сразу.

«Необходимо достать такую книгу, в которой написано, как воспитывать детей, — решил Вася. — Я буду читать её по вечерам вслух, ведь все мы — я сам, Антверпен и Михеев — существа холостые и бездетные, а Марья Семёновна в воспитании ничего не смыслит, хотя и многодетная мать, и в результате малыши не получат никакого воспитания или, что ещё хуже, получат неправильное воспитание».

От этой мысли Вася даже вспотел.

«Необходимо добраться до библиотеки, — думал он. — Я, как существо сидячее, этого сделать не могу. Антверпену не дотащить толстой книги, даже если он её и найдёт. Михеев необходим здесь, в доме, потому что он приносит в дом молоко. Придётся послать за книгой Марью Семёновну».

Вечером, когда дети уснули, взрослые устроили родительское собрание, на котором Вася изложил все свои соображения. Все с ним согласились. Кроме Марьи Семёновны, которая поначалу пыталась возражать, что, мол, её воспитывали без книг и ничего плохого не случилось, но Вася на это твердо возразил:

— Если бы вас, Марья Семёновна, воспитывали по книгам, может быть, ваши малыши лучше вас слушались бы!

Марье Семёновне пришлось признать, что дети её не слушаются. Михеева маленькие сороконожки уважали за молоко, Антверпена побаивались за крепость жёлтого клюва, который, впрочем, он никогда не пускал в дело, к Васе проявляли полное равнодушие за его сидячий образ жизни, а мать действительно ни в грош не ставили.

Наутро Марья Семёновна встала раньше всех и тихонько, чтобы не разбудить малышей, собралась в город, в библиотеку. Ползла она не очень быстро, дорога была ей незнакома, путешествие обещало быть долгим и трудным.

Глава 8

Малыши, проснувшись, отсутствия матери не заметили, съели большую кастрюлю каши, чуть не утопив при этом одного из братьев в кастрюле. Съевши кашу до дна, они хорошенько облизали и братца. Потом они выползли из дома, и, сколько им Вася со своего подоконника ни кричал вдогонку, что надо умыться и почистить кастрюлю, ни один не обернулся. Одни легли на самом пороге, на солнышке, другие расползлись по дорожкам. Некоторые остались дома: немного играли, немного дрались.

После утомительной ночной работы пришёл Михеев с бидоном молока.

Молоко ему не задаром досталось: он ни минуты не спал всю ночь, охраняя от мышей амбар.

Михеев поставил бидон на стол и пошёл спать. Всё последнее время он недосыпал, а для котов недосыпание хуже, чем недоедание.

Только кот забрался на печку, сороконожки влезли на стол и устроили около бидона возню: одни хотели его подвинуть, другие — наклонить, третьи влезли на ручку бидона и повисли на ней, как гроздь винограда. Бидон немного покачался и опрокинулся. Сороконожек это нисколько не огорчило, они стали пить молоко со стола, купаться в нём, брызгаться, а один, самый умный, соображал, как бы запустить в молочной луже кораблик с белым парусом….

Вася на окошке напрасно надрывался — его не слышали. Шум, поднятый сороконожками, разбудил Михеева. Он страшно огорчился, увидев пролитое молоко, хотел задать им трёпку, но вспомнил о своём несчастном детстве и сдержался.

— Ты, Васенька, прав, без книжки тут не обойтись, — сказал он столетнику. — Раньше они меня хоть немного слушались, а теперь подросли и совсем перестали…

И Михеев принялся за уборку. А сороконожки побежали во двор и помогать не стали.

Дело шло уже к вечеру, а Антверпен, улетевший рано утром за зерном на дальнее поле, всё не возвращался. Дети требовали каши, Михеев накормил их какими-то домашними остатками и уложил спать. Теперь Михеев и Вася очень беспокоились, не случилось ли с Антверпеном чего плохого. До самого утра просидел Михеев на подоконнике рядом с Васей, глядя в тёмное окно. Ни Марьи Семёновны, ни Антверпена.

«Погиб, погиб наш друг», — совсем уж было отчаялись Вася с Михеевым.

Но Антверпен не погиб, хотя неприятность действительно случилась. Он набил полный рюкзачок зерном, хотел взвалить его себе на спину, но сделал неловкое движение и вывихнул крыло. Лететь он теперь не мог. Он, конечно, давно бы добрался до дома, если бы был порожняком, но ему было жаль бросить набитый зерном рюкзачок, поэтому он еле-еле ковылял по дороге, толкая перед собой зерно для сороконожек. Только к вечеру следующего дня добрался он до дому. Он был весь в пыли, крыло волочилось по земле, клюв раскрыт, он еле дышал.

— Живой, голубчик ты наш! — прошептал Вася.

Михеев, втянув поглубже свои острые когти, прижал друга к груди. Кошачье и воробьиное сердца бились в лад.

А жестокосердые сороконожки, поужинав, продолжали свои мелкие драки и глупые игры и на чужие страдания не обращали никакого внимания.

Вася и Михеев принялись за лечение Антверпена. Вася велел аккуратно отрезать самый толстый из своих листков и привязать к больному крылу. Михеев растопил печь и поставил на неё ведро с водой из бочки, чтобы обмыть Антверпена — у него от пыли и грязи все перья слиплись. Когда вода закипела, случилось ещё одно несчастье: Михеев поскользнулся на яблочной кожуре.

Обычно все поскальзываются на банановой кожуре, в крайнем случае на апельсиновой, но где их взять в нашей средней полосе, где не растут ни бананы, ни апельсины, а до магазина очень далеко. С яблоками дело тоже обстояло не блестяще, но как раз накануне Михеев сам же побаловал деток и принёс полтора килограмма яблок белый налив. Вот сороконожки и разбросали по полу яблочную кожуру — другой-то не было.

Так и произошло несчастье: Михеев поскользнулся, кастрюля с кипятком выпала из его лап, и он обварился с ног до головы. Он издал дикий вопль и запрыгал по всему дому от ужасной боли.

Теперь, когда Михеев нуждался в лечении гораздо больше, чем Антверпен, воробей совершенно забыл, как отвратительно он чувствовал себя всего минуту тому назад. И он взялся за лечение кота: расстелил чистую простыню, уложил на неё стонущего Михеева и стал его обмазывать соком столетника. Вася только подставлял всё новые и новые листики, чтобы воробей их отклёвывал и прикладывал к ожогам. И всю эту процедуру Антверпен проделал героически — одним крылом. Второе, с компрессом из Васиного сока, бессильно болталось и только мешало ему.

Вася, сидя в своём горшке, не мог сдержать слез и причитал не переставая — за что ему такое несчастье, почему он родился жалким растением, у которого нет ни рук, ни ног, чтобы помочь своим друзьям в беде. Друзья утешали его как могли: Антверпен говорил, что не встречал ни среди животных, ни среди растений такого образованного и такого благородного существа, а Михеев сквозь стоны слабым голосом сказал, что он особенно любит его именно за то, что он растение и что его зелёный цвет такого редкого и прекрасного оттенка, какой не встречается у птиц и животных, даже у африканских: у лягушек, к примеру, противный грязноватый оттенок, а зелёная окраска попугая нестерпимо вульгарна.

Антверпен тем временем отклёвывал от Васи по листику, пока не обнаружил, что от Васи почти ничего не осталось: всего один маленький лист торчал из земли!

Неумытые сороконожки, оставшись без надзора взрослых, заснули прямо на столе, среди грязной посуды…

Глава 9

Малыши проснулись и подняли страшный шум — просили есть. Михеев был так измучен ожогами, что и хвостом шевельнуть не мог. Антверпен закряхтел в своей клеточке и вылез, волоча больное крыло, чтобы приготовить завтрак. Молока не было. Но рюкзак с зерном стоял у двери, и на несколько дней еды сороконожкам должно было хватить. Пока воробей, шатаясь от слабости, варил детям кашу на воде, они дружно били ложками по столу и кричали: «Каши! Каши! Каши!»

Антверпен, из последних сил мешая кашу, обратился за помощью к другу:

— Вася, объясни им, пожалуйста, что сырые зёрна вредны для детского пищеварения. — Антверпен обернулся к Васе, чтобы получить от него поддержку но — о боже! — Васи в горшке не было. Почти не было.

Вместо пышного зелёного куста в горшке торчал один-единственный, усохший за ночь листик.

— Погиб! — завопил Антверпен. — Вася погиб! Вася засох! О горе! Он отдал все свои прекрасные, толстые, здоровые листики, чтобы вылечить Михеева, а себе для жизни оставил один-единственный листик, и теперь он погиб! Умер бедный наш друг!

Михеев заплакал на печке. Но он был так слаб, ожоги вызывали такую ужасную боль, что он не мог встать.

— Он умер, — сказал один из малышей.

— Надо посмотреть, как это, — сказал другой.

Один за другим они влезли на подоконник и заглянули в горшок: вместо могучего рослого столетника с множеством толстых листьев в середине горшка торчала какая-то сухая закорючка.

Горько плакал Михеев, облепленный целебными листьями.

— Он умер из-за меня! Он отдал все свои листья, чтобы залечить мои раны!

Антверпен хотел сказать что-то утешительное, но ему ничего не приходило в голову.

Зато один из малышей, наверное, самый смелый, сказал:

— Не плачь, Михеев. Он умер из-за нас. Ты не виноват. Это мы нарочно разбросали яблочную кожуру, потому что хотелось посмотреть, как ты шлёпнешься.

— Это ты хотел, чтобы Михеев шлёпнулся? — спросил Антверпен у

самого смелого, но он сразу же пискнул: «Не я!» и спрятался среди братцев и сестёр.

— Так кто же из вас хотел, чтобы Михеев шлёпнулся? — спросил поражённый Антверпен. Малыши закричали вразнобой:

— Не я! Не я! Все хотели! Никто не хотел! Все! Мы все кидали кожуру! Я не кидал! Ты кидал! Мы все кидали!

«Как они напоминают мне моих братьев, — подумал с грустью Антверпен. — Такая же злая толпа».

— Не ругай их, Антверпен. Это несчастный случай, и я виноват во всём сам. Бедный наш Вася! — прошептал с печи Михеев слабеющим голосом.

— Только не умирай, — взмолился Антверпен. — Прошу тебя, не умирай.

— Если я умру, похорони меня рядом с нашим другом Васей, — раздался с печи голос Михеева.

— Тогда я и сам умру от горя! — воскликнул Антверпен. И тут раздался дружный рёв малышей-сороконожек.

— Но мы не хотим, чтобы все умерли! — закричал один.

— А кто принесёт нам поесть? Антверпен, не умирай! — закричал второй.

— А кто принесёт молоко? Михеев, не умирай! — закричал третий.

— Мы больше не будем разбрасывать яблочную кожуру! — закричал четвёртый.

— И вообще — где наша мама? — заплакал пятый. И тут все они вспомнили, что давно не видели маму Марью Семёновну. И подняли такой крик, какого ещё никто не слышал. Они пищали, скулили, ревели, рыдали и выли. Они не вспоминали про маму все эти дни, но вдруг оказалось, что она им очень нужна.

А мама Марья Семёновна уже неслась на всех сорока ножках по дорожке к дому на предельной скорости. На спине она тащила огромную толстую книгу, на которой было написано: «Как воспитывать непослушных детей». И к дому она поспела как раз в ту минуту, когда вопли её детей достигли предельной громкости.

— О боже! — тихо произнесла Марья Семёновна. — Что тут происходит?

Дети облепили её со всех сторон, тянулись к ней всеми своими ножками и мордочками, чтобы поцеловать измученную длинной дорогой и тяжёлой поклажей маму.

— Ужасные новости! Умер Вася! Михеев обварился кипятком и тоже

собирается умирать! И Антверпен обещал умереть! Мамочка! Как хорошо, что ты пришла!

Глава 10

По настоянию Марьи Семёновны останки Васи вместе с цветочным горшком похоронили прямо во дворе. Зарыли в землю и сверху насыпали могильный холмик. Книгу по педагогике положили на подоконнике рядом с Энциклопедией, но — увы! — никто теперь не мог прочитать столь нужную книгу: Антверпен не успел научиться читать, а Михеев хотя и знал пять букв, но этого было явно недостаточно. Не говоря уже о том, что он лежал на печи и стонал — ему было всё хуже и хуже.

И тут Марья Семёновна проявила неожиданную сообразительность и твёрдость характера — собрала всех своих детей и сказала им буквально следующее:

— Михеева надо лечить. Васи теперь нет с нами, но вокруг нашего дома несметные заросли ромашки, а ромашка, как говорил Вася, растение лекарственное. Так что все быстро за дело — собирать ромашки!

Конечно, в это трудно поверить: маленькие сороконожки бросились со всех ног на промысел. За час они набрали целую кастрюлю цветков. Марья Семёновна с Антверпеном приготовили отвар и сделали Михееву огромный компресс на голову, на спину на живот, на все четыре лапы и на хвост. И Михееву стало чуть-чуть лучше. Утром сороконожки снова набрали кастрюлю ромашки, и снова было сварено лекарство и сделан новый компресс, и Михееву стало ещё немного лучше…

К счастью, пошли дожди, и теперь Антверпену не надо было далеко летать за водой, потому что бочка наполнилась свежей водой, она вполне годилась и для компрессов, и для питья.

К концу недели Михеев спустился с печи. Выглядел он ужасно: старая шерсть почти вся сошла, а новая только пробивалась.

Но уже было видно, что новая шерсть вырастет и лысым на всю жизнь он не останется. Первый день он ходил по дому, а на второй вышел за порог — взглянуть на могилу Васи. Утирая скупые кошачьи слезы, Михеев подошёл к могильному холмику…

Хотите — верьте, хотите — нет! В это действительно трудно поверить: в самой середине могильного холма вырос маленький столетник!

— Вася! — воскликнул Михеев. — Ты ли это?

— Уа! Уа! — раздалось в ответ.

Антверпен, у которого только-только начало заживать вывихнутое крыло, от неожиданности взлетел на забор.

— Это Вася! — чирикнул он. — Вася снова вырос!

— Уа! Ва-ва! — пролепетал маленький столетник. Прибежали все сороконожки во главе с Марьей Семёновной и подняли радостный крик:

— Вася! Наш Вася не умер! Он вернулся!

— Всё дело в корешке, — объяснил Михеев. — Он же растение, и он снова вырос из старого корешка. Как хорошо быть растением!

— Вася! Мы больше не будем разбрасывать яблочную кожуру! — дружно закричали сороконожки.

— А-гу! Гу-гу! Ку-ку! — согласилось растение. Этот новый столетник был, несомненно, Вася, но только не прежний мудрый и добрый Вася, а младенец.

Михеев поглаживал растение своей не совсем ещё зажившей лапой:

— Мы тебя любим, Вася! Пожалуйста, вырастай поскорей! Ну, скажи: «Ва-ся»!

— Уа-уа! — заплакал маленький столетник.

— Он хочет пить, — догадался Антверпен.

И все бросились поить Васю: Антверпен принёс воды в клюве, Михеев поливал из бидона, а сороконожки выстроились друг за другом и протянулись цепочкой от верха бочки прямо до бывшей могилы, которая теперь была уже не могилой, а обыкновенной клумбой. Они передавали кружку воды — из ножек в ножки — и почти ничего не проливали по дороге.

До самого вечера, прервавшись лишь на обед, они поливали маленького Васю, и он рос прямо на глазах. К вечеру он вырос в два раза и сказал своё первое слово. Оно звучало странно:

«Па-би-бо!»

Глава последняя

Уложив сороконожек спать, Михеев и Антверпен уселись на подоконнике, где лежали две толстые, никому не нужные книги, и тихо беседовали.

— Какого друга мы потеряли, — с грустью заметил Антверпен. — Он был так умён, так образован, а теперь у нас ещё один ребёнок на руках.

Антверпен вспрыгнул на лежащую книгу, клюнул несколько раз в название.

— И теперь мы никогда не узнаем, как правильно воспитывать трудных детей.

— Не знаю, не знаю, — загадочно улыбнулся Михеев.

Известно, что кошки большие мастера на загадочные улыбки. Тут подала из своего угла голос робкая Марья Семёновна:

— А если бы вы знали, как тяжело было тащить эту книгу на спине. И как жаль, что мы никогда не узнаем, как воспитывать трудных детей.

Антверпен её поддержал:

— А подростки? Когда они станут подростками, мы с ними вообще не справимся, они пойдут по дурному пути, начнут курить и выбрасывать окурки и пустые бутылки на землю, ездить на мотоцикле без глушителя, обижать слабых и — не дай бог! — ненавидеть всех, у кого нет сорока ног, например, воробьев, кошек, столетников! Не правда ли, Михеев?

А Михеев сидел, молчал и продолжал загадочно улыбаться, как будто он знал что-то такое, что известно ему одному. Так оно и было: ему пришла в голову мысль, что хорошая книжка делает своё дело, даже если её некому прочитать. Но он пока решил ничего не говорить об этом своём соображении другу Антверпену, а ещё немного подождать.

Ждать пришлось совсем недолго. На следующее утро сороконожки первым делом побежали смотреть на Васю. Он за ночь ещё немного подрос, а когда они к нему подошли, он прошептал очень тихо и не очень разборчиво:

«Здравствуй-те!»

Сороконожки снова выстроились друг за другом от верха бочки до клумбы и опять начали поливать Васю из кружки.

Днём Михеев подошёл к Васе, понюхал его, погладил лапкой, на которой отрастала очень успешно новая шерсть, пошептал ему что-то и ушёл вполне довольный. В этот день он решил, что уже окончательно

окреп. Под вечер он взял пустой бидон для молока и пошёл на работу.

История, в сущности, близится к концу: через неделю Вася вырос до взрослого состояния, он вспомнил почти всё, что с ним происходило в прошлой жизни, когда он был старым столетником и стоял на подоконнике. Теперь он был снова молодым. Хотя одно его удивительное качество не восстановилось: читать он теперь не умел.

За то время, пока маленькие сороконожки поливали Васю, помогая ему вырасти, они сами повзрослели и поумнели и даже стали сомневаться в том, стоит ли разбрасывать яблочную кожуру.

Настал момент, когда Михеев высказал вслух мысль, которая пришла ему в голову, когда он сидел с Антверпеном на подоконнике, а Вася был младенцем: хорошая книжка делает своё дело, даже если её некому прочитать.

Этой мыслью он поделился с Васей, и Вася с ним в принципе согласился. Тем более что к этому времени он уже выучил все буквы и не терял надежды снова научиться читать.

А у Антверпена тоже возникла своя собственная мысль, касающаяся воспитания. Она была короткой, как воробьиный нос: у каждого существа должно быть имя! Хорошее, правильное имя. Как у него самого. Пока он был Перхач, дела его шли плохо, а когда он стал Антверпеном, всё пошло на лад. Следовательно, надо исправить упущение неопытной Марьи Семёновны — немедленно придумать имена всем её детям. Мысль эта всем чрезвычайно понравилась, и в первую очередь самим сороконожкам. Оставалась одна нерешённая проблема: откуда брать имена? Тогда Вася поднатужился и вспомнил, как складывать буквы в слова. На новое освоение чтения у Васи ушло два дня: оцените его огромный талант!

Через два дня утром Вася попросил, чтобы его с клумбы перенесли на подоконник. Там он открыл Энциклопедию и начал читать заглавия всех статей от А до Я. Сороконожки выбрали себе имена по вкусу: Абеляр, Авраам, Агат, Аритмия, Афина Паллада и так далее — до Японии. И какое же это было счастье!

Конечно, они по-прежнему были очень похожи друг на друга, но теперь у каждого было своё собственное имя, и теперь они называли друг друга очень торжественно: брат Агат! сестра Япония!

Больше всех радовался Вася, который достиг своей прежней мудрости. Последнее его высказывание как раз и свидетельствует о том, насколько он умён. А сказал он следующее:

— Дорогие мои Абеляр, Авраам, Агат, Аритмия, Афина Паллада… и так далее до Японии! Уважайте своё имя! Существа, которые уважают своё

имя, не разбрасывают яблочную кожуру по полу, не швыряют окурки и пустые бутылки на землю, не гоняют на мотоцикле без глушителя, не обижают слабых и любят всех, даже тех, кто на них нисколько не похож, например воробьев, кошек и столетников! А те, кто своего имени не уважает, составляют дикую толпу, которая разбрасывает яблочную кожуру и так далее и тому подобное отсюда и до самой Японии!

Какая мысль!

Детство-49

Капустное чудо

Две маленькие девочки, обутые в городские ботики и по-деревенски повязанные толстыми платками, шли к зеленому дощатому ларьку, перед которым уже выстроилась беспросветно-темная очередь. Ждали машину с капустой.

Позднее ноябрьское утро уже наступило, но было сумрачно и хмуро, и в этой хмурости радовали только тяжелые, темно-красные от сырости флаги, не убранные после праздника.

Старшая из девочек, шестилетняя Дуся, мяла в кармане замызганную десятку. Эту десятку дала Дусе старуха Ипатьева, у которой девочки жили почти год. Младшей, Ольге, она сунула в руки мешок — для капусты.

— Возьмите, сколько унесете, — велела она им, — и морквы с килограмм.

Было самое время ставить капусту. Таскать Ипатьевой было тяжело, и ноги еле ходили. К тому же за то время, что девочки жили у нее, она уже привыкла, что почти всю домашнюю работу они делают сами — легко и без принуждения.

К старухе Ипатьевой, по прозвищу Слониха, девочек привезли в конце сорок пятого года, вьюжным вечером, почти ночью. Они приходились внучками ее недавно умершей сестре и были сиротами: отец погиб на фронте, а мать умерла годом позже. И соседка привезла их к Слонихе — ближе родни у них не было. Ипатьева оставила их у себя, но без большой радости. Наутро, разогревая на плите кашу, она бормотала: привезли, мол, на мою голову…

Девочки испуганно жались друг к дружке и исподлобья смотрели на старуху одинаковыми круглыми глазами.

Первую неделю девочки молчали. Казалось, что они не разговаривают даже между собой, только шуршат, почесывая головы. Старуха тоже молчала, ни о чем не спрашивала и все думала большую думу: оставлять их при себе или сдать в детдом.

В субботу она взяла таз, чистое белье и девочек, волосы которых были заранее намазаны керосином, и повела их на Селезневку в баню. После бани Ипатьева впервые уложила их спать на свою кровать. До этого они спали в углу, на матрасе. Девочки быстро заснули, а Ипатьева еще долго сидела со своей подружкой Кротовой. Выпив чаю, она сказала:

— Господь с ними, пусть живут. Может, неспроста они ко мне на

старости лет пристали.

А девочки, словно почуяв, что их жизнь решилась, заговорили сначала между собой, а потом и со старухой, которую стали звать бабой Таней. Они обжились, привыкли к новому жилью и к Слонихе, только с городскими ребятами не сошлись: их игры были непонятны, интереснее было сидеть в комнате, возле швейной машинки, слушать ее неровный стук и подбирать лоскутки, падающие на пол: Ипатьева брала работу — если повезет, то из нового, но больше кому перелицевать, кому починить…

Теперь девочки шли за капустой, и Дуся прикидывала, куда же они ее поставят: бочонка в хозяйстве не было. В дырявом кармане Дусиного пальто, кроме десятки, лежала еще и картинка из журнала с нарисованным желтым зубастым японцем, замахнувшимся кривым ножом на кусок географической карты.

Подтерев сестре нос, Дуся опустила замерзшие пальцы в карман и нащупала десятку, скатанную трубочкой.

— Большая, а носа вытереть не можешь, — проворчала она точно так, как это делала Ипатьева, и снова сунула руку в карман. Ее замерзшие пальцы не расчувствовали десятирублевки и скатали поудобней в трубочку желтого японца. Измятая десятирублевка обиженно скользнула в дыру кармана и полетела вдоль мостовой вместе с бурыми промерзшими листьями.

Сестры встали в хвост недлинной очереди. Женщины говорили, что, может, капусту и не привезут, потому стояли только самые упорные. Все другие, простояв минут десять, уходили, обещая вернуться. Девочки тесно прижимались друг к дружке, топали озябшими ногами — ботики были дареные, изношенные, тепла не держали.

— Надо было валенки надеть, — сказала Дуся.

— На валенках кошка спит, — отозвалась Ольга. И они замолчали, наговорившись.

Минут через сорок пришел грузовик с капустой. Его долго разгружали, и девочки терпеливо ждали, пока начнут продавать. Им и в голову не приходило уйти без капусты.

Наконец сгрузили. Раскрылось зеленое окошко, продавщица начала отпускать. Очередь сразу разбухла. Прибежали все: и те, кто занимал, и те, кто не занимал. Девочки все оттеснялись и оттеснялись в хвост. Они давно продрогли. Временами шел не то дождь, не то снег. Платки их промокли, но пока еще грели. Только ноги вконец иззябли. Время уже перевалило за обеденное, и продавщица закрыла окошечко, когда девочки приблизились к нему вплотную. Стоявшая у прилавка тетка начала шуметь:

— Чего закрываешь, когда только открыли? Но продавщица цыкнула на нее:

— Обед! — И ушла.

Прошел еще час. Свет стал убывать. Посыпал настоящий, слепленный в крупные хлопья снег. Он покрывал сутулые спины людей, и спины домов, и кучу бело-голубой, твердой даже на вид капусты. От белизны снега стало чуть веселее и вроде светлее.

Вернулась продавщица. Отпустила капусту тетке впереди девочек, и Дуська вытащила из кармана заветную трубочку, развернула ее — вместо десятки это была картинка с японцем. Она пошарила в кармане, ничего в нем больше не было. Ее охватил ужас.

— Тетенька! Я деньги потеряла! — закричала она. — По дороге потеряла! Я не нарочно!

Краснолицая продавщица, одетая, как капуста, во многие одежды, выглянула из своего окошка вниз, посмотрела на Дусю и сказала:

— Беги домой! Возьми у мамки денег, я тебе без очереди отпущу.

Но Дуська не отходила.

— Дырка у меня! Я не нарочно! — ревела она. Маленькая Ольга, понимая, что на них свалилось горе, тоже ревела.

— Иди, поищи, может, на дороге найдешь, — посоветовала темнолицая женщина из очереди.

— Как же, найдешь. — фыркнул одноглазый старик.

— Не задерживайтесь, чего зря болтать! Эй, девочка, отойди в сторону! — сказал кто-то третий.

Две сгорбленные девочки, по-деревенски замотанные платками, пошли в сторону дома, разгребая ногами кучи перемешанных со снегом и сумраком листьев, нагибались и рыли побелевшими пальцами в хрустящих водоворотах. Старшая горестно, по-взрослому причитала:

— Горе ты мое! Что теперя с нами будет! Прогонит она нас, и куда мы пойдем!

Ольга, опустив вниз углы своего треугольного рта, вторила сестре:

— Куда пойдем…

Стемнело. Укрывши плечи мешком, они медленно брели к дому. Умненькая Дуся все думала, что бы такое сказать Ипатьевой, чтобы она их не прибила или, хуже того, не прогнала… Украли? Или отняли? Или еще чего? Сказать «потеряла» казалось ей совсем невозможным.

Ольга всхлипывала. Они подошли к повороту, остановились, собираясь перейти дорогу: деревенская робость перед машинами все еще оставалась в Дусе. Навстречу им несся грузовик, освещая фарами

бежавший перед ним раскосый кусок брусчатки. Девочки стояли. Машина, не сбавляя ходу, резко повернула, под фонарем сверкнул бело-голубым сиянием ее груз — высоко вздыбившаяся над бортом капуста. Машина вильнула возле них, рванулась и поехала мимо, сбросив к их ногам два огромных кочана. Они крякнули, стукнувшись о дорогу. Один распался надвое, второй покатился, слегка подпрыгивая, прямо к ногам Ольги.

Они посмотрели друг на дружку — два светло-голубых изумленных глаза смотрели в другие, точно такие же. Сняли с плеч мешок, которым укрывались, сунули в него цельный кочан и тот, что распался. Дуся не могла взвалить на плечи мешок — был слишком тяжел. Они взялись за углы мешка. Вострая Дуся подложила под него картонку, и они поволокли его…

Ипатьевой дома не было. Она сидела у подружки Кротовой, плакала, утирая слезы кривым ситцевым лоскутом:

— Шура, подумай, ведь два раза к ларьку бегала… Пропали, пропали девчоночки мои… Цыгане свели или кто…

— Да найдутся, кому они нужны-то? Сама подумай! — утешала ее Кротова.

— Девчоночки-то какие были! Золотые, ласковые… Как же они без меня? А я-то, я-то как без них? — убивалась Ипатьева, комкая промокшую тряпочку.

А девочки в темноте выложили на стол капусту, сели, не раздеваясь, на стул и ждали…

Восковая уточка

Чаще всего — чуть не каждое воскресенье — старый Родион появлялся летом. Он шел всегда рядом с тележкой, которую везла большая костлявая лошадь. Остановившись посреди двора, он кричал громким голосом:

— Старье-берем!

Это «старье-берем» было вроде припева, потому что он еще длинно выпевал:

— Кости, тряпки, бумага, старая посуда, все берем!

Первыми его окружали ребята.

В задней части тележки горой лежало старье — мятая самоварная труба, остатки сапог, даже консервными банками старик не брезговал. А в передней части тележки всегда стоял фанерный чемодан.

Когда Родион раскрывал его, все замирали. Чемодан был полон драгоценностями. В тонкую картонку были вдеты легкие сережки с красными и зелеными камушками, маленькие колечки лежали навалом в банке из-под леденцов, воздушной кучкой вздымались чуть прозрачные раскрашенные восковые уточки, ослепительно сверкали большие стеклянные шары, в которых торжественно плавали рыбы и лебеди. Нашитые на бумажку пуговицы и разноцветные пряди ниток волшебно переливались под майским солнцем.

Валька Боброва прижималась к телеге и не отходила до конца представления. Ей нечего было принести Родиону. Однажды, в прошлом году, она отнесла было Родиону материн платок, но Нинка, старшая сестра, увидела, отняла и вздула. Потом еще добавила и мать.

Вот Валька и стояла, жадно рассматривая сокровища, и прикидывала, чего бы она выбрала… На крупный товар, вроде шаров, она и не глядела — чтобы не тратить попусту желание.

Она выбирала между колечком с зеленым камушком и одной уточкой. Уточка была немного попорченная, со вмятиной на крыле. И еще очень нравился наперсток — детский, маленький, он был единственным и лежал в коробке с иголками и пуговицами.

Торговля шла вяло. Пришла тетя Маруся, принесла луженую-перелуженую кастрюлю с дырявым дном. Просила пачку иголок. Родион дал одну — и она, ругая его за жадность на чем свет стоит, ушла в «крылятник», ту часть дома, где до войны жили одни Крыловы, а теперь

пять семей.

Петька Разуваев принес старую шинель, но Родион не взял: отец тебе уши вырвет! Это была чистая правда.

Сашка Молокин принес три галоши, он подобрал их на майские праздники, после демонстрации, и хранил в ожидании Родиона. Он хотел шар с лебедями, но получил бумажный мячик на резинке, желто-розовый, и был доволен.

Потом подошел Шурка Турок, взрослый парень, что-то тихо сказал Родиону, тот кивнул.

Шурка был дворовый вор, это все знали, но он был ловкий, никто его не словил.

Старуха Егорова принесла ватное одеяло. У нее в комнате случился пожар. Огонь загасили, но одеяло погорело. За остатки одеяла она просила у Родиона десяток больших черных пуговиц, но он жалел отдать их за горелое одеяло. Они долго торговались, и она ушла домой ни с чем.

Валька Боброва таращила круглые глаза и все запоминала. Память у нее была невиданная: она помнила за всю свою жизнь, кто что Родиону снес и что за это получил.

Родион закрыл свой чемодан, зрители стали расходиться. Валька всегда уходила последней. На этот раз ничего выдающегося не произошло, двор обогатился одним бумажным мячиком, который Валька никогда бы не выбрала, да иголкой.

Родион не спеша обошел вокруг телеги и тронул лошадь. Большие зеленые ворота кто-то успел закрыть.

— Эй, ворота отвори! — крикнул Родион Вальке, и она стрелой понеслась открывать. Родион выехал на мощенную булыжником улицу, а Валька все стояла в воротах и думала про уточку с помятым крылом.

Тетя Матрена Клюева хлопала половиком о забор, поднимая облачка черной пыли. Из дома раздался пронзительный детский крик, и Матрена, бросив половик, кинулась в дом. У нее на плите кипел бак с бельем, и она испугалась, что маленький Сережа, которого она оставила одного на кухне, обварился.

Решимость и холод вдруг обрушились на Вальку. Она подобралась, как пружина, минуты не думая, схватила половик и понеслась вслед за Родионом. Он уже въехал в соседний двор и кричал там свое «старье-берем».

Валька ловко пробралась сквозь толпу соседских ребят и протянула Родиону половик.

— Ишь, вспомнила, — буркнул он, ковырнул половик пальцем и

бросил в телегу.

Валька хотела попросить уточку, но язык не ворочался во рту. Родион не глядя сунул руку в фанерный чемодан, огромными пальцами вынул оттуда помятую уточку и опустил Вальке в руку. Она спрятала ее между ладонями и тихо пошла домой. От холода и решимости ничего не осталось, колотилось сердце и очень хотелось пить. Она шла и думала только об одном — куда ее спрятать…

Через два года Валька поступила в школу и у нее открылся талант: ее недокормленное тело оказалось на редкость гибким и ловким. Сначала тренер из Дома пионеров велел приходить на секцию гимнастики, потом ее перевели в спортивную школу. Она выступала в больших соревнованиях, ездила на сборы в другие города и скоро стала мастером спорта, а потом — на весь мир известной спортсменкой.

Всякий раз перед выступлением к ней приходило чувство холода и решимости, и она почему-то вспоминала о нежной восковой уточке с помятым крылом, которая давно растаяла под ее горячими пальцами.

Дед-шептун

Всех женщин своей большой семьи, от бабушки, которая приходилась ему невесткой, до правнучки Дины, прадед называл «доченьками». Всех мужчин — «сыночками», делая исключение для своего старшего сына Григория, которого всегда величал полным именем.

Последние годы он был почти совсем слеп, отличал только свет от тьмы: видел окно, горящую лампу. Читать он уже давно не мог, но правнучка Дина запомнила его почему-то с толстой тяжелой книгой на коленях.

Разговаривал он мало, но постоянно что-то шептал так тихо, что почти неслышно. Видно было, как двигаются седые усы над провалившимся ртом — за это звали его дети дедом-шептуном. Он был очень тихим, почти весь день сидел в большом кресле, иногда на табуретке на крошечном полукруглом балкончике. На улицу он не выходил.

Братья ходили в школу, все взрослые были на работе, а Дина, самая младшая в семье, оставалась с прадедом. Время от времени они ложились на диван, укрывшись заштопанным сине-зеленым пледом, и прадед рассказывал девочке истории, вернее, одну бесконечную историю про людей с необыкновенными именами.

Была у них еще одна игра: Дина прятала палку темного дерева с рукоятью в виде собачьей головы с прижатыми ушами, а он ее на ощупь искал и не всегда находил. Правда, иногда он говорил:

— Доченька, вынь-ка палку из-под кровати, мне туда не залезть.

Когда брату Алику исполнилось десять лет, прадед подарил ему часы. Это был невиданно богатый по тем временам подарок. Часы были на тонком коричневом ремешке, формой напоминали кирпичик, у циферблата было торжественное выражение лица. Они были похожи на игрушечные и старались выглядеть посолиднее.

Ни у кого в классе часов не было. Ни у кого во дворе часов не было. А у Алика — были. Каждые пять минут он смотрел на часы и все удивлялся, какие же минуты разные: некоторые длинные, еле тянутся, а другие быстрые, проскакивают незаметно.

Вечерами Алик заводил часы и клал их рядом с кроватью на стул. Сколько Дина ни просила, он не давал их даже подержать.

Однажды утром, недели через две после того, как подарили часы, Алик ушел в школу, оставив часы на стуле возле кровати. По дороге он

спохватился, но возвращаться было некогда.

После завтрака Дина обнаружила часы. Она осторожно взяла их — и надела. Прадед покачал головой. Он часто качал головой, словно о чем-то сокрушался.

Во дворе Дину окружили ребята.

— Это Алькины часы! — говорили они.

— Нет, мои! — врала Дина. — Наш прадед был часовщиком, пока не ослеп. У него таких часов — сто штук. Он и мне подарил.

Закатав рукава кофточки, она влезла на качели. Когда она качнулась, часы сверкнули на весь двор. Их видела и тетка, которая вешала белье, и кошка, которая грелась на солнце, и малыш, сидящий в куче песка. Сам дворник спросил у нее, который час. Дина смутилась: она еще не умела различать время по часам. Пришлось сделать вид, что спешит, и убежать на задний двор.

Там ребята играли в волейбол. Она попросилась, ее приняли неохотно. Играть толком она не умела. Дина подняла руки с растопыренными пальцами и стала ждать, когда мяч шлепнется о них. Она ждала долго, даже устала держать на весу бесполезно растопыренные пальцы. Наконец, долгожданный мяч, направленный чьей-то завистливой рукой, с силой ударился о запястье, и часы брызнули в разные стороны — отдельно механизм, отдельно стеклышко. С жалким звоном оно стукнулось о землю и подскочило, сверкнув на солнце. На руке остался только ремешок с блестящим донышком.

…Был конец мая. Была первая жара, липы стояли в новой листве, как свежевыкрашенные, и даже пахли немного масляной краской. Казалось, что деревья остолбенели перед случившимся несчастьем. Один только безжалостный Колька Клюквин ехидно произнес:

— Ну, Алька тебе задаст! Хотя часики вроде твои, да?

Зажав в ладони то, что осталось от часов, Дина медленно поднялась на крыльцо, прошла сквозь облако солнца, лежащее на ступенях, в прохладную темноту, пахнувшую сырой известкой и кошками. Долго-долго она поднималась на второй этаж. Она не плакала, но было так тяжело, как будто она несла на спине мешок картошки. Она долго колотила пяткой в дверь, пока не услышала, как шаркает, постукивая палкой, прадед. Он открыл. Дина уткнулась носом в тощий дедов живот, в парусиновые сборки мятых штанов.

— Ничего, ничего, доченька, — сказал он. — Не надо было их брать.

— Ничего! — взвыла Дина. — Хорошо тебе говорить!

И слезы наконец брызнули, как брызжут в цирке у клоунов, сильной

струёй. Она сунула в маленькую сухую руку прадеда стеклышко и механизм, отцепила ремешок с донышком, и оно было страшным, как крышка гроба, которую она видела однажды на лестнице.

— Ничего! Ничего! — рыдала Дина, уткнувшись в потертую ковровую подушку и заливаясь слезами. А когда все слезы, которые были, вылились, она крепко уснула.

Старичок с редкими белыми волосами, стоявшими вокруг маленькой головы, держал разбитые часы и беззвучно шевелил губами.

Когда Дина проснулась, прадед сидел за столом, а перед ним стояла фарфоровая коробочка с инструментами: пинцетами, щеточками, колесиками и круглым увеличительным стеклом в темной оправе, которое дети называли «глазком» и которым прадед давно уже не пользовался.

Дина подошла к нему на цыпочках и прижалась к острому плечу. Он засовывал ремешок в ушки целых часов.

— Деда, ты починил? — не веря своим глазам, спросила Дина.

— Ну вот, а ты плакала. Стеклышка нового у меня нет. Здесь трещинка маленькая, — и он провел твердым длинным ногтем по трещинке. — Видишь?

— Вижу, — шепотом ответила Дина. — А ты? Скажи, ты не слепой, да? Ты видишь?

Прадед повернулся к ней. Глаза его были добрыми и блеклыми. Он улыбнулся.

— Пожалуй, кое-что вижу Но только самое главное, — ответил он и зашептал, как всегда, что-то неслышное.

Вот и вся история. Прошло очень много лет, и Дина мало что помнит из того времени. Но то, что помнит, делается с годами все ясней, и иногда ей кажется, что скоро она сможет различить, расслышать те слова, которые шептал ее прадед.

Гвозди

В то лето, когда родилась сестра Маша, Сережу решили отправить в деревню — не к дедушке, как отправляли других ребят, а к прадедушке. Прадед жил в далекой деревне, и добирались они с отцом сложным путем: сначала на поезде, потом на маленьком пароходе, потом долго шли пешком.

Только под вечер добрались они до деревни. По обе стороны неширокой улицы, заросшей низкой пушистой травой, стояли большие серые избы. Некоторые были заколочены. Посреди улицы медленно шли тонконогие кудлатые животные, про которых Сережа сказал: чудные собачки!

Отец засмеялся:

— Овец не узнал! А вон пастух!

И указал на мальчишку чуть постарше Сережи, босого и в теплой шапке. И это тоже было чудно.

Изба, в которой жил прадед, стояла на краю деревни. Когда они вошли, Сережа замер — у него была книжка русских сказок, в которой все было точно так нарисовано: с русской печи свисал овчинный тулуп, который надевал сказочный Старик перед тем, как вести свою бедную дочь в лес к Морозко, и даже ухват стоял на том самом месте, что и на картинке. И запах был особенный, на всю жизнь запомнившийся: старой овчины, закваски, яблок, лошадиной сбруи и другого, незнакомого… запах, которого больше нет на свете…

Две старухи набросились на отца, целовали, плакали, спрашивали. До войны, подростком, он тоже у них гостил.

Поцеловали и Сережу. Одна старуха была ничего, вторая страшная и очень худая и совсем без зубов.

— Это, Серега, тетушки мои, Настасья и Анна, — сказал отец, — твоего дедушки сестры. Так что тебе они вроде бабушки…

«Есть у меня бабушка!» — подумал Сережа с тоской, сразу вспомнил свою красивую завитую бабушку, мамину мать, которая работала бухгалтером в театре и часто водила его на детские спектакли. Он скривился, но ничего не сказал.

Отец вытаскивал из рюкзака гостинцы — одна бабушка сильно радовалась, а вторая заплакала.

«Наверное, боится, что та все подарки заберет», — подумал Сережа и подергал тихонько отца, хотел сказать, чтоб отец сам разделил, а то худой

не достанется. Сергей был человек справедливый и во дворе приучен к честной дележке. Но отец от него отмахнулся:

— Потом, потом… — и все вытаскивал свои свертки. И тут вошел прадед. Он был большой и походил на некрасивого медведя. Старухи сразу притихли, а одна их них сказала:

— Батя, вот Виктор приехал, Ивана сын.

Они поцеловались.

— В нашу породу вышел, — глухим голосом сказал прадед. — парнишком-то мелким был.

Сереже показалось, что отец робеет.

Старухи засуетились, поставили на стол большой темный хлеб, ложки и зеленый таз, который называли «чашкой».

На Сергея никто внимания не обращал, но скучно ему не было. Он тихонько разглядывал множество незнакомых вещей. Удивительное дело: здесь и знакомые вещи имели какой-то другой, новый вид — ложки были деревянные, а подушки были одеты в красные и цветные наволочки, а не в белые, как дома.

Нестрашная старуха крошила в таз зеленый лук, огурцы и картошку, вторая откуда-то принесла решето с яйцами. Солома торчала из решета — как на картинке про Курочку Рябу..

Пришли трое ребят: две девочки постарше Сережи и мальчик, по виду ровесник или помоложе.

— Вот твоя компания будет, — сказал отец. — Это твои троюродные.

Их звали Маринка, Нинка и Митька.

Сережа удивился — он и не знал, что у него столько родни.

Сели за стол. Посреди стола стоял таз с каким-то коричневатым супом, но тарелок не было, только ложки и большой, раскатистый, как пирог, хлеб. Прадед перекрестился и зачерпнул ложкой из общей миски, а за ним и все по очереди.

— Ешь, — шепнул отец. — Это окрошка.

Все как-то ловко зачерпывали, ни у кого на стол не капало, даже у Митьки.

Прадед спрашивал отца про завод, про жизнь. Отец отвечал и на Сережу не глядел. А Сережа сидел, вертел кусок хлеба и удивлялся, как это они едят из одного тазика.

Вдруг страшная старуха, которую звали Анна, взяла белую глубокую тарелку, налила в нее из общей посуды немного и поставила перед Сережей:

— Ешь, милок, ты по-городскому привык, — шепнула она ему

беззубым ртом.

Девчонки хихикнули, мальчик фыркнул.

И вдруг Сережа почувствовал себя несчастным и одиноким. Он подумал, что здесь не останется и уедет завтра с отцом.

Перед ним стояла белая тарелка — все остальные ели из общей, и неожиданно Сереже это показалось очень обидным. А отец сидел, ел и ничего не замечал. Слезы подкатывали к горлу и готовы были вот-вот потечь.

— Что не ешь-то? Ай не нравится? — спросила старуха.

— Нравится, — прошептал Сережа.

Слезы сами собой потекли. Он понял, что хочет есть из зеленой миски, как все. Но было уже поздно.

Никто на него не смотрел. Он отодвинул белую тарелку и потянулся к общей миске. Суп был холодный, кислый, и в ложке плавал зеленый лук, которого Сережа не ел.

Потом поставили на стол большую яичницу и вареную картошку. Это была привычная еда, Сергей поел ее. Старуха Анна отвела его спать на другую половину на большую высокую кровать с разноцветными подушками.

Он лег и подумал, что ни за что здесь не останется.

Наутро, когда он проснулся, оказалось, что отец уже уехал. Об этом сказала Анна, которую он все не мог назвать бабушкой. Она дала ему молока, кусок давешнего большого хлеба и велела идти гулять. Ребята уже ушли.

Сергей вышел из избы. Он обошел ее кругом, она оказалась очень большой, с пристройкой, и поодаль еще стоял сарай. Дверь была открыта, и он заглянул. Там никого не было. Стоял верстак, над ним висели разные инструменты: рубанки, молотки и еще много разных железных вещей, которым Сережа не знал названия. Под верстаком стоял ящик. В нем по гнездам были разложены гвозди разной величины. Сергей взял средний, длиной с мизинец, взял молоток и стал искать, куда бы его забить.

Он сел у порога, высыпал гвозди кучкой у ног и начал их забивать в порог. Он промахивался, бил по пальцам, гвозди гнулись. Потом дело пошло лучше…

И вдруг почувствовал, что он не один. Рядом с ним стоял прадед и смотрел на него. Сережа испугался. Ни слова не говоря, прадед взял из рук молоток, несколько гвоздей и ровно и легко всадил их рядом с Сережиными.

— Рукоять за конец держи, — глухим голосом сказал старик, — а

гвоздь так ставь. Бей в один удар! — и Сережа понял, что он не особенно сердится.

Он взял молоток, как велел старик, и долго еще вбивал гвозди. Пока весь порог не забил. Потом встал и хотел было идти. Прадед строгал рубанком доску, но тут он отложил рубанок, дал Сергею тяжелую изогнутую железяку с раздвоенным заостренным концом и сказал:

— Вот гвоздодер возьми! Теперь вынь гвозди-то! Гвоздь на дело нужен. На что он там?

Сережа взял гвоздодер двумя руками… И снова дед встал на колени, отобрал у него гвоздодер и показал, как надо держать. Пальцы у деда были огромные, руки темные, ногти толстые и бурые, как старый картон.

«Такими пальцами можно и без клещей гвозди тащить», — подумал Сережа.

Он долго пытался подцепить гвоздь, тот не поддавался. С тоской смотрел он на блестящую дорожку шляпок, которые ему предстояло вытянуть. Он понимал, что попался в ловушку. Прадед подошел, легонько ударил молотком по обушку гвоздодера, и он плотно обнял шейку гвоздя.

— Нажимай! — сказал прадед, и Сергей двумя руками нажал на рукоять вниз.

Гвоздь, поколебавшись, дрогнул, и полез вверх, и просто-таки выпрыгнул легко и радостно, как будто сам только того и хотел… и только под самый конец пришлось его чуть-чуть поддернуть… И явился на свет.

С другим так ловко не получилось — шляпка отлетела. Дед мельком взглянул и сказал своим глухим голосом:

— Гвоздь береги.

Сергей принялся за третий. Прадед дал коробок и велел складывать туда. Так он тягал и тягал, пока не позвали…

После обеда прадед куда-то ушел, а Сережа решил спрятаться. Он залез на чердак. Там было пыльно и таинственно, но не вытянутые из порога гвозди томили его, и он слез с чердака и пошел в сарай.

Потом опять пришел прадед, посмотрел на Сережину работу и ничего не сказал. Пальцы все были побиты и болели, уйти почему-то было невозможно.

«Вбивал пять минут, — сердился неизвестно на кого Сергей, — а вытаскивать сто часов».

До самой темноты он возился с гвоздодером и клещами и, наконец, все гвозди, гнутые и битые, лежали в коробке. Он отдал коробок прадеду, тот поставил его на верстак и сказал:

— Пошли в избу…

Сергей был собой доволен, хотя прадед его не похвалил.

Наутро он встал рано. Босые девчонки и Митя шлепали по избе. Сергей застегивал сандалии и думал, как бы ему за ними увязаться, но тут в избу вошел прадед и сказал:

— Идем со мной, Сергей.

Сергей удивился, но пошел.

Прадед повел его в сарай. Там, на верстаке все еще стоял коробок со вчерашними гвоздями. Прадед взял кусок железа размером с книжку, но поуже, положил его на высокий чурбак, вынул двумя пальцами кривой гвоздь и начал по нему легонько постукивать молотком. Гвоздь выпрямился и засверкал свежим блеском.

— Вот так и будешь делать, — сказал прадед.

Сергей обомлел.

«Эта работа на всю жизнь», — подумал он. Взял молоток, слегка тюкнул. Гвоздь повернулся на другой бок. Он крутился с боку на бок, как живой. Сергей промахнулся, ударил по пальцу…

Прадед хмыкнул.

— Легче держи!

И Сергей, сжав губы, чтоб не заплакать, все тюкал и тюкал… Долго не получалось, а потом вдруг сразу все сделалось как само собой — гвозди стали послушными.

Когда работа была закончена, он поставил коробок на верстак. Дед взял его и положил в ящик, под верстак, потом распрямился и сказал:

— В курятнике две доски надо поменять. Пошли, поможешь мне…

В то лето Сергей так и не сдружился со своими троюродными. Он ходил за стариком и делал с ним всякую работу: столярную, по дому, на пасеке… Под самый конец лета деду привезли на телеге доски. Сгрузили возле сарая. Дед долго их оглядывал, кряхтел, качал головой. Потом позвал Сергея — в помощь. Сначала старик долго правил железок рубанка, потом разводил старую пилу, а когда инструменты приготовил, начал работу… Сережиной помощи не надо было, но прадед его не отпускал, все давал поручения… Перед самым Сережиным отъездом работа была закончена — это был большой длинный ящик с крышкой.

Троюродный брат Митька в последний день спросил:

— А на похороны приедешь?

— На какие похороны? — удивился Сережа.

— Так прадед помирать собрался, гроб-то на что он строил?

«Вот оно что, деревянный ящик был гроб!» — сообразил наконец Сережа.

На другой день приехал отец забирать Сережу. Прадед показал ему гроб в сарае, а отец сказал, что матерьял очень хороший…

В следующее лето Сергей снова приехал в деревню. Но в это лето было все по-другому. Он сошелся со своими троюродными, ходил с ними на речку, в лес за ягодами. В сарай он зашел только один раз — на верстаке стоял коробок с гвоздями, которые он в то лето правил. А прадеда уже больше не было.

Счастливый случай

Как только начинало припекать и подсыхала грязь, желтая и худая Халима, повязанная по самые брови шелковым линялым платком, начинала просушивать постель. Она выносила раскладушки и наваливала на них одеяла, коврики, перины такой огромной разноцветной кучей, что непонятно было, как все это помещается в двух крошечных подвальных комнатах, где она жила с бритоголовым мужем Ахметом и множеством разновозрастных детей.

Куча эта возвышалась как раз под окном Клюквиных, живших на первом этаже дощатого двухэтажного дома.

Пока одеяла и подушки грелись на солнце, отдавая накопленную за зиму подвальную сырость, вреднющая старуха Клюквина, высунувшись в окно между цветочными горшками, добросовестно и монотонно бранила Халиму.

— Колюня, Колюня, подь сюда! — приказала она своему шкодливому внуку Кольке. — А ну-ка скинь все!

Колюня с удовольствием побежал во двор и, выждав минуту, когда Халима отлучилась, перевернул раскладушку.

Халима сердилась, нет ли — понять было нельзя. Она была молчалива и терпелива. Она подобрала вещи, сложила на раскладушки и посадила рядом дочку Розку — стеречь.

Халимины выставленные раскладушки обычно служили сигналом — женщины вывешивали на бельевых веревках, натянутых между липами, зимние пальто и одеяла, а на изгородях рассаживались, как огромные разноцветные кошки, толстые подушки. По коврам и половикам хлопали палками, выстреливая облачками уютной домашней пыли.

Старуха Клюквина все стояла у окна и поругивалась. Потом в голову ей пришло, что неплохо бы проветрить свою плюшевую жакетку. Нести во двор она не хотела — а ну как украдут? — и решила проветрить ее на чердаке.

Она позвала Кольку, велев ему оттащить на чердак «шубу», как она уважительно называла свою жакетку, и, снявши в сенцах ключ с гвоздя, стала подниматься вслед за Колькой на чердак.

Просторная деревянная лестница вела на второй этаж, а там она суживалась, делала резкий поворот и останавливалась у низкой дверки.

Старуха Клюквина отомкнула висячий замок, и они вошли в огромное,

уже нагретое ранним солнцем помещение. Скаты крыши были неровными, посреди чердака крыша горбилась и уходила вверх, а в одной из скошенных стен зияло большое двустворчатое окно, через которое падал на чердак полосатый поток зыбкого и мутного света.

Колюня уже бывал здесь — и каждый раз восхищенно замирал перед кучами хлама, жадно разглядывая причудливые очертания, образованные самоварной трубой, рогатой вешалкой, вставшим на дыбы сундуком и лежащим на боку шкафом, покрытым нежной попоной пыли.

Колька ткнулся было туда, но бабка, повесив жакетку на бельевую веревку, потянула его к выходу. Она замкнула низкую дверь и, переваливаясь на пухлых ногах, стала тяжело спускаться по деревянной лестнице. Колюня шел следом, мучительно соображая, как бы стащить у нее ключ и забраться одному на чердак. Но ключи она несла в руке, а руку опустила в карман передника.

Колюня вышел во двор и задумчиво посмотрел на крышу. Окно на чердаке было приоткрыто; раздвоенный ствол большой липы направлялся было в сторону окна, но потом сворачивал, так что залезть с него на крышу было никак нельзя. Трехэтажный дом, кирпичный, более поздней постройки, стоял впритык к их хлипкому деревянному, стены лепились друг к другу, но крыша трехэтажки, этого небоскреба их квартала, метра на полтора возвышалась над крышей Колюниного дома.

«Если выход на чердак в трехэтажке открыт, можно рискнуть», — решил Колюня.

Одним махом он взлетел на третий этаж. Две двери вели в квартиры, а между ними была еще одна, поплоше, чердачная. Она оказалась запертой. Но Колькина хитроумная голова работала — и он пошел просить ключ от чердака к дворничихиному Витьке. Он ловко наврал ему, что на крышу упал мяч, и не какой-нибудь, а известный во всех дворах района Шуркин кожаный мяч, и что никто из ребят не знает, куда его занесло, а он, Колька, лично видел, как мяч залетел на крышу. И если Витька поможет ему достать ключ от чердачной двери, то они вдвоем будут навеки владельцами Шуркиного мяча!

У Витьки загорелись глаза, и он пообещал немедленно поспособствовать. Добыть ключи Витьке не стоило никакого труда: мать, похрапывая, спала на узкой коечке за печкой, а ключи горкой лежали посреди стола.

Через три минуты оба они стояли у чердачной двери, примеривая к замку ключи. Вышедший из соседней двери старик Конюхов подозрительно посмотрел на них и спросил, что это они тут делают. Витька

замялся, а Колюнька приветливо и лживо сказал:

— А тетя Настя велела метлы принести, тут они стоят…

— А-а-а, — удовлетворенно протянул Конюхов и, громыхая палкой, пошел вниз по лестнице.

Дверь наконец открылась. Этот плоский чердак не представлял для Кольки никакого интереса. Пахло мышами, стояли старая перевернутая кровать и детская ванночка…

«То ли дело наш…» — мелькнуло у Колюни. И он представил себе, как заберется в самую середину огромной кучи, как загудит самоварная труба и как здорово он там заживет…

Через слуховое окошко они вылезли на крышу. Давно не крашенная плоская крыша, ничем не огороженная, а лишь заканчивающаяся узким отворотом ржавого железа, гулко громыхала под ногами. Вниз смотреть было страшно.

— Нет мяча-то, — прошептал Витька, — где он, твой мяч, а?

А сам зачарованно уставился вниз. Земля круглилась внизу, и было здорово заметно с такой высоты, до чего же она круглая, до чего большая. С одной стороны шли все маленькие дома, и горизонт был как бы открыт, и дома не кончались, а только сливались в серо-зеленой дымке. Самые высокие липы были ниже их. Настоящей листвы еще не было, только легкая прозелень на ветках, и между ними был виден двор, и соседский двор, и кусок улицы с дрожащим трамваем. Каланча казалась близкой и словно уменьшившейся в размере, так же как широкое тело Пименовской церкви.

— Какой мяч? — переспросил Колька, далеко в мыслях отошедший от своей хитрой выдумки. — А, мяч… Да, видно, вон туда скатился, — сказал Колюня и целеустремленно пошел к краю крыши, нависающему над двухэтажкой.

— Ты посиди пока, я слазию на двухэтажку может, там мяч-то, — сказал одержимый своим чердаком Колюня, уже свесив ноги и уцепившись за край крыши. Он разжал пальцы и ловко приземлился на крышу двухэтажки. Крыша эта была горбом, идти по ней было неудобно. Он подошел к растворенному чердачному окну и, держась за приоткрытую раму, глянул вниз.

Он увидел задний двор, большой голый дуб, лишайники сараев, Шуркину голубятню, блестящий, всем двором обожаемый «опель кадет» дяди Димы Орлова… Он присел на корточки — ему хотелось увидеть и то, что было закрыто от его зрения: раскладушку с разноцветными перинами, песочницу, маленьких Нинку и Валерку, только что игравших в песке,

доминошный стол…

Старуха Клюквина, позвякивая ключом от чердака, все не могла успокоиться.

— Ишь, выложила свое тряпье под самый нос, — ворчала она.

Потом встала, взяла совок, выгребла из печки немного золы и подошла к окну. Халима как раз отвернулась, а старуха ловким, даже каким-то спортивным движением сыпанула из окна золу прямо на раскладушку и, как маленькая девочка, с хитрым видом спряталась за занавеску — наблюдать за Халимой. Но та вытирала носы двум своим меньшим сыновьям и все не оборачивалась.

И вдруг странная фигура мелькнула прямо перед глазами Клюквиной. Черная, небольшая, она камнем упала сверху, прямо в середину Халиминого тряпья, и раскладушка, хрюкнув, развалилась. Над бледным Колькой стояла Халима. Она взглянула в его лицо, увидела тоненькую струйку крови, вытекающую изо рта, и схватила его на руки.

— Живой? Живой ты? Руки, ноги целые? — И забормотала что-то по-татарски, радостно прижимая к себе этого шкодливого, хитрого, никем во дворе не любимого мальчишку.

И еще не вполне поняв, что же произошло, старуха Клюквина бежала на своих ватных ногах к раскладушке и кричала:

— Он, бес! Не парень, бес! И откуда же это он сверзился?

Кольку, живого и невредимого, но с прокушенным языком, вечером выпороли.

На другой день вредная старуха Клюквина, держа за руку Колюню, торжественно отнесла в подвал Халиме покрытый от мух полотенцем большой пирог с вареньем. Все соседи видели, как Клюквина поклонилась Халиме и сказала громким скандальным голосом:

— Прости меня, Халима. Кушайте на здоровье.

А Халима стояла в дверях, высокая, похожая одновременно на худую лошадь и на пантеру в линялом платке, удивительно красивая.

Бумажная победа

Когда солнце растопило черный зернистый снег и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму отбросы человеческого жилья — ветошь, кости, битое стекло, — и в воздухе поднялась кутерьма запахов, в которой самым сильным был сырой и сладкий запах весенней земли, во двор вышел Геня Пираплетчиков. Его фамилия писалась так нелепо, что с тех пор, как он научился читать, он ощущал ее как унижение.

Помимо этого, у него от рождения было неладно с ногами, и он ходил странной, прыгающей походкой.

Помимо этого, у него был всегда заложен нос, и он дышал ртом. Губы сохли, и их приходилось часто облизывать.

Помимо этого, у него не было отца. Отцов не было у половины ребят. Но в отличие от других Геня не мог сказать, что его отец погиб на войне: у него отца не было вообще. Все это, вместе взятое, делало Геню очень несчастным человеком.

Итак, он вышел во двор, едва оправившись после весенне-зимних болезней, в шерстяной лыжной шапочке с поддетым под нее платком и в длинном зеленом шарфе, обмотанном вокруг шеи.

На солнце было неправдоподобно тепло, маленькие девочки спустили чулки и закрутили их на лодыжках тугими колбасками. Старуха из седьмой квартиры с помощью внучки вытащила под окно стул и села на солнце, запрокинув лицо.

И воздух, и земля — все было разбухшим и переполненным, а особенно голые деревья, готовые с минуты на минуту взорваться мелкой счастливой листвой.

Геня стоял посреди двора и ошеломленно вслушивался в поднебесный гул, а толстая кошка, осторожно трогая лапами мокрую землю, наискосок переходила двор.

Первый ком земли упал как раз посередине, между кошкой и мальчиком. Кошка, изогнувшись, прыгнула назад. Геня вздрогнул — брызги грязи тяжело шлепнулись на лицо. Второй комок попал в спину, а третьего он не стал дожидаться, пустился вприпрыжку к своей двери. Вдогонку, как звонкое копье, летел самодельный стишок:

— Генька хромой, сопли рекой!

Он оглянулся: кидался Колька Клюквин, кричали девчонки, а позади них стоял тот, ради которого они старались, — враг всех, кто не был у него

на побегушках, ловкий и бесстрашный Женька Айтыр.

Геня кинулся к своей двери — с лестницы уже спускалась его бабушка, крохотная бабуська в бурой шляпке с вечнозелеными и вечноголубыми цветами над ухом. Они собирались на прогулку на Миусский скверик. Мертвая потертая лиса, сверкая янтарными глазами, плоско лежала у нее на плече.

.. Вечером, когда Геня похрапывал во сне за зеленой ширмой, мать и бабушка долго сидели за столом.

— Почему? Почему они его всегда обижают? — горьким шепотом спросила, наконец, бабушка.

— Я думаю, надо пригласить их в гости, к Гене на день рождения, — ответила мать.

— Ты с ума сошла, — испугалась бабушка, — это же не дети, это бандиты.

— Я не вижу другого выхода, — хмуро отозвалась мать. — Надо испечь пирог, сделать угощение и вообще устроить детский праздник.

— Это бандиты и воры. Они же весь дом вынесут, — сопротивлялась бабушка.

— У тебя есть что красть? — холодно спросила мать.

Старушка промолчала.

— Твои старые ботики никому не нужны.

— При чем тут ботики?.. — тоскливо вздохнула бабушка. — Мальчика жалко.

Прошло две недели. Наступила спокойная и нежная весна. Высохла грязь. Остро отточенная трава покрыла засоренный двор, и все население, сколько ии старалось, никак не могло его замусорить, двор оставался чистым и зеленым.

Ребята с утра до вечера играли в лапту. Заборы покрылись меловыми и угольными стрелами — это «разбойники», убегая от «казаков», оставляли свои знаки.

Геня уже третью неделю ходил в школу. Мать с бабушкой переглядывались. Бабушка, которая была суеверна, сплевывала через плечо — боялась сглазить: обычно перерывы между болезнями длились не больше недели.

Бабушка провожала внука в школу, а к концу занятий ждала его в школьном вестибюле, наматывала на него зеленый шарф и за руку вела домой.

Накануне дня рождения мать сказала Гене, что устроит ему настоящий праздник.

— Позови из класса кого хочешь и из двора, — предложила она.

— Я никого не хочу. Не надо, мама, — попросил Геня.

— Надо, — коротко ответила мать, и по тому, как дрогнули ее брови, он понял, что ему не отвертеться.

Вечером мать вышла во двор и сама пригласила ребят на завтра. Пригласила всех подряд, без разбора, но отдельно обратилась к Айтыру:

— И ты, Женя, приходи.

Он посмотрел на нее такими холодными и взрослыми глазами, что она смутилась.

— А что? Я приду, — спокойно ответил Айтыр.

И мать пошла ставить тесто.

Геня тоскливо оглядывал комнату. Больше всего его смущало блестящее черное пианино — такого наверняка ни у кого не было. Книжный шкаф, ноты на этажерке — это было еще простительно. Но Бетховен, эта ужасная маска Бетховена! Наверняка кто-нибудь ехидно спросит: «А это твой дедушка? Или папа?»

Геня попросил бабушку снять маску. Бабушка удивилась:

— Чем она тебе вдруг помешала? Ее подарила мамина учительница… — И бабушка стала рассказывать давно известную историю о том, какая мама талантливая пианистка, и если бы не война, то она окончила бы консерваторию…

К четырем часам на раздвинутом столе стояла большая суповая миска с мелко нарезанным винегретом, жареный хлеб с селедкой и пирожки с рисом.

Геня сидел у подоконника, спиной к столу, и старался не думать о том, как сейчас в его дом ворвутся шумные, веселые и непримиримые враги… Казалось, что он совершенно поглощен своим любимым занятием: он складывал из газеты кораблик с парусом.

Он был великим мастером этого бумажного искусства. Тысячи дней своей жизни Геня проводил в постели. Осенние катары, зимние ангины и весенние простуды он терпеливо переносил, загибая уголки и расправляя сгибы бумажных листов, а под боком у него лежала голубовато-серая с тисненым жирафом на обложке книга. Она называлась «Веселый час», написал ее мудрец, волшебник, лучший из людей — некий М. Гершензон. Он не был великим учителем, зато Геня был великим учеником: он оказался невероятно способным к этой бумажной игре и придумал многое такое, что Гершензону и не снилось…

Геня крутил в руках недоделанный кораблик и с ужасом ждал прихода гостей. Они пришли ровно в четыре, всей гурьбой. Белесые сестрички,

самые младшие из гостей, поднесли большой букет желтых одуванчиков. Прочие пришли без подарков.

Все чинно расселись вокруг стола, мать разлила по стаканам самодельную шипучку с коричневыми вишенками и сказала:

— Давайте выпьем за Геню — у него сегодня день рождения.

Все взяли стаканы, чокнулись, а мама выдвинула вертящийся табурет, села за пианино и заиграла «Турецкий марш». Сестрички завороженно смотрели на ее руки, порхающие над клавишами. У младшей было испуганное лицо, и казалось, что она вот-вот расплачется.

Невозмутимый Айтыр ел винегрет с пирожком, а бабушка суетилась около каждого из ребят точно так же, как суетилась обычно около Генечки.

Мать играла песни Шуберта. Это была невообразимая картина: человек двенадцать плохо одетых, но умытых и причесанных детей, в полном молчании поедавших угощение, и худая женщина, выбивавшая из клавишей легко бегущие звуки.

Хозяин праздника, с потными ладонями, устремил глаза в тарелку. Музыка кончилась, выпорхнула в открытое окно, лишь несколько басовых нот задержались под потолком и, помедлив, тоже уплыли вслед за остальными.

— Генечка, — вдруг сладким голосом сказала бабушка, — может, тоже поиграешь?

Мать бросила на бабушку тревожный взгляд. Генино сердце едва не остановилось: они ненавидят его за дурацкую фамилию, за прыгающую походку, за длинный шарф, за бабушку, которая водит его гулять. Играть при них на пианино!

Мать увидела его побледневшее лицо, догадалась и спасла:

— В другой раз. Геня сыграет в другой раз.

Бойкая Боброва Валька недоверчиво и почти восхищенно произнесла:

— А он умеет?

…Мать принесла сладкий пирог. По чашкам разлили чай. В круглой вазочке лежали какие угодно конфеты: и подушечки, и карамель, и в бумажках. Колька жрал без зазрения совести и в карман успел засунуть. Сестрички сосали подушечки и наперед загадывали, какую еще взять. Боброва Валька разглаживала на острой коленке серебряную фольгу. Айтыр самым бесстыжим образом разглядывал комнату. Он все шарил и шарил глазами и, наконец, указывая на маску, спросил:

— Теть Мусь! А этот кто? Пушкин?

Мать улыбнулась и ласково ответила:

— Это Бетховен, Женя. Был такой немецкий композитор. Он был

глухой, но все равно сочинял прекрасную музыку.

— Немецкий? — бдительно переспросил Айтыр. Но мама поспешила снять с Бетховена подозрения:

— Он давным-давно умер. Больше ста лет назад. Задолго до фашизма.

Бабушка уже открыла рот, чтобы рассказать, что эту маску подарила тете Мусе ее учительница, но мать строго взглянула на бабушку, и та закрыла рот.

— Хотите, я поиграю вам Бетховена? — спросила мать.

— Давайте, — согласился Айтыр, и мать снова выдвинула табурет, крутанула его и заиграла любимую Генину песню про сурка, которого почему-то всегда жалко.

Все сидели тихо, не проявляя признаков нетерпения, хотя конфеты уже кончились. Ужасное напряжение, в котором все это время пребывал Геня, оставило его, и впервые мелькнуло что-то вроде гордости: это его мама играет Бетховена, и никто не смеется, а все слушают и смотрят на сильные разбегающиеся руки. Мать кончила играть.

— Ну, хватит музыки. Давайте поиграем во что-нибудь. Во что вы любите играть?

— Можно в карты, — простодушно сказал Колюня.

— Давайте в фанты, — предложила мать.

Никто не знал этой игры. Айтыр у подоконника крутил в руках недоделанный кораблик. Мать объяснила, как играть, но оказалось, что ни у кого нет фантов. Лилька, девочка со сложно заплетенными косичками, всегда носила в кармане гребенку, но отдать ее не решилась — а вдруг пропадет? Айтыр положил на стол кораблик и сказал:

— Это будет мой фант.

Геня придвинул его к себе и несколькими движениями завершил постройку.

— Геня, сделай девочкам фанты, — попросила мать и положила на стол газету и два листа плотной бумаги. Геня взял лист, мгновение подумал и сделал продольный сгиб…

Бритые головы мальчишек, стянутые тугими косичками головки девчонок склонились над столом. Лодка… кораблик… кораблик с парусом… стакан… солонка… хлебница… рубашка…

Он едва успевал сделать последнее движение, как готовую вещь немедленно выхватывала ожидающая рука.

— И мне, и мне сделай!

— Тебе он уже сделал, бессовестная ты! Моя очередь!

— Генечка, пожалуйста, мне стакан!

— Человечка, Геня, сделай мне человечка!

Все забыли и думать про фанты. Геня быстрыми движениями складывал, выравнивал швы, снова складывал, загибал уголки. Человек… рубашка… собака…

Они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все его благодарили. Он, сам того не замечая, вынул из кармана платок, утер нос — и никто не обратил на это внимания, даже он сам.

Такое чувство он испытывал только во сне. Он был счастлив. Он не чувствовал ни страха, ни неприязни, ни вражды. Он был ничем не хуже их. И даже больше того: они восхищались его чепуховым талантом, которому сам он не придавал никакого значения. Он словно впервые увидел их лица: не злые. Они были совершенно не злые…

Айтыр на подоконнике крутил газетный лист, он распустил кораблик и пытался сделать заново, а когда не получилось, он подошел к Гене, тронул его за плечо и, впервые в жизни обратившись к нему по имени, попросил:

— Гень, посмотри-ка, а дальше как…

Мать мыла посуду, улыбалась и роняла слезы в мыльную воду.

Счастливый мальчик раздаривал бумажные игрушки…